

# **ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ**

Журнал русской литературы

## **КНИГА СОРОК ВОСЬМАЯ**

### **СО Д Е Р Ж А Н И Е**

Евгений СТЕПАНОВ. **От редакции** ..... 3

#### **ПОЭЗИЯ И ПРОЗА**

Елена ЯКУШЕВСКАЯ. **Стихи позапрошлого лета**. Стихотворения ..... 4

Борис БОРУКАЕВ. **Лунный круг**. Стихотворения ..... 7

Лидия ТЕРЁХИНА. **Горькая медаль**. Рассказ ..... 11

#### **ОЧЕРК**

Лев БЕРДНИКОВ. **Учитель словесности** ..... 21

#### **ШТУДИИ**

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА. **Линии судьбы в рассказах О. Генри** ..... 46

Ирина АНТОНОВА. **Немного волшебства от Александры Крючковой** ..... 54

#### **РЕЦЕНЗИИ**

**Павел Рыков, «Возвращение ветра»** (Ольга ЕФИМОВА) ..... 60

**Евгений Степанов, «Прикосновение»** (Александр БАЛТИН) ..... 62

**Людмила Осокина, «Осень-осень»** (Александр КАРПЕНКО) ..... 64

**Павел Манылов, «Папа»** (Роман ВОЛКОВ) ..... 67

**Коротко об авторах** ..... 69

декабрь, 2022

ЖУРНАЛ  
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИЗДАТЕЛЬ  
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  
«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»  
(Генеральный директор Евгений СТЕПАНОВ)

**Главный редактор**  
Евгений СТЕПАНОВ (Россия)

**Редакционная коллегия**

Людмила АГЕЕВА (Германия)  
Борис ВАЙНБЛАТ (Германия)  
Лилия ГАЗИЗОВА (Россия)  
Андрей ГРИЦМАН (США)  
Вера ЗУБАРЕВА (США)  
Семён КАМИНСКИЙ (США)  
Наталья КРОФТС (Австралия)  
Евгений СТЕПАНОВ (Россия)

**Компьютерная верстка**  
Ирина РАКИТИНА

**Контакты**

Бизнес-центр «Калейдоскоп»  
Россия, 115230, Москва, Хлебозаводский проезд,  
д. 7, стр. 9, офис № 12 (7 этаж)  
Редакция журнала «Зарубежные записки»  
Степанову Евгению Викторовичу  
Тел. в Москве: (495) 978 62 75  
Сайт журнала: <http://z-zapiski.ru>  
Эл. адрес редакции: [stepanovev@mail.ru](mailto:stepanovev@mail.ru)

**УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!**

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!  
Желаю здоровья, благополучия и хорошего чтения!  
Мы продолжаем печатать писателей метрополии и русского зарубежья.  
Литература едина.  
Оставайтесь с нами!

*Евгений СТЕПАНОВ*

## СТИХИ ПОЗАПРОШЛОГО ЛЕТА

### В КОНЦЕ ИЮЛЯ

Запахнет август ранним сентябрем,  
в пунцовый цвет нарядится репейник,  
семейства трав почувствуют нутром  
все, что в строку вдохнул романтик Гейне.

Но ты не Гейне. В юбке вдоль межи  
бредешь и вдруг — так близко к эмпирию,  
где колет в щеку ус небесной ржи  
или росток небесного пырея...

Внизу, забыв на время про формат  
и безупречно выдержав фермату,  
сквозь лапы елей бирюзу закат  
льет на капусту и кошачью мяту.

### МАЛЬЧИКУ

Под горячей крышей корзины с луком,  
с чесноком, с трухой золотого цвета,  
тишина рождается легким стуком:  
это грузный жук прилетел с приветом...  
А в беседку выпорхнешь без халата —  
ты у лета бабочка на макушке;  
ждет-пождет тебя впереди расплата,  
не со зла кует в вышине кукушка.  
На воде дробится порыв сирени,  
белый блеск за облако улетает,  
и, как будто ты не рожден, парень  
в твоём теле маленьком обитает.



### ОРАКУЛ

Так бывает, сгорает источник, но свет остается.  
В магнитоле звучит баритон, мне напомнивший Отса.  
Хороши ароматы — жасмина, шиповника, кухонной прозы,  
чистоты на веранде, во дворике частном — навоза...  
А я жду не дождусь ожидания нового счастья!  
Приоткрыли цветочные тигры пятнистые пасти —  
зарычали: ну кто под болеющей яблоней курит!  
Золотистые розы проплыли в румяной лазури...  
На стекле начертав гексаграмму и гамму — на стенке,  
бог небес обновлял, как обои, сиянья оттенки:  
то пятном, то волнисто, то перисто, то полосато.  
На столе зеленели листья молодого салата.

### В САДУ

Легла строка на сенсорный экран...  
Нырять в сад — в зеленую пучину...  
С прохладной нотой имя «Вантабран»  
по языку скатилось без причины.  
В тени вьюнок садовый молчалив,  
игрив огонь почти из ниоткуда  
на пузырьках янтарно-красных слив,  
не торопя законченность этюда...  
Листва рифмует наобум слова,  
воображая местность Вантабрана:  
без ясной мысли, может, не права,  
но этот лепет исцеляет раны.

### ВЕЧЕР

Я здесь была... Я помню этот час...  
Между реальностью разорвана граница  
и подсознанием, в окне анфас  
плывет Луна и блесков вереница,  
а птах ночной горланит без проблем —  
от звонкой ноты в носоглотке жженье:  
не суетись, уснем не насовсем,  
раз не слабеет сила притяженья.

### БАБОЧКА

Освежают гортань сладковатые слюни:  
от жары не уйдешь у травы на постое;  
однодневные души порхают в июне,  
в голубое одетые и золотое,  
и вливаются в полдень неторопливо,  
упоительно благоухая, пионы:  
говорят, что они из айда шпионы,  
потому и стоят, тихо-тихо, за сливой.

### НА ВЕТРУ

В зеленом зареве сгорает лето,  
проходит время, не сочтя за труд —  
ни в памяти, ни в сердце не умрут  
артисты травного кордебалета:

узор волны и всплески отражений  
зеркалят пляску ивы у пруда,  
целует пылко желтая звезда —  
на бледной коже у блондинки жженье...

И та оставит у воды секретик —  
прощальный вздох... с виска седую нить...  
чтобы в июль земной еще заплывать,  
надев под солнцем вязаный беретик.

\* \* \*

Такой каприз. Пыльцовыми мазками  
в неуловимой майской теплоте,  
пожалуй, да, с трухой и лепестками,  
проплыть, в стихи сложиться на плите  
бетонной в обветшалом темном парке,  
и пусть их смысл и ценность не поймет  
при блеске солнц, светивших и Петрарке,  
какой-нибудь прохожий обормот.

## ЛУННЫЙ КРУГ

### ШАТКИЙ ПРИЮТ

Тесен немного наш маленький домик.  
Мы не в обиде ничуть.  
Вновь умолкаем в приятной истоме,  
чтоб, отдышавшись, уснуть.

Песни все тише, и месяц все выше.  
Смотрит на угли костра.  
Он уж давно отработывать вышел  
смену свою до утра.

Спишь. Даже в ночь эту столь шепутную  
замер уставший лесок.  
Губы твои безответно целую  
Впрок... впрок... впрок...

Утром отъезд. И маршрут нам известен.  
Каждый — к себе. Се ля ви.  
Только в палатке мы можем быть вместе —  
шатком приюте любви.

### ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ

Это ты ли так зло развлекаешься, Господи?  
Посмотри с высоты на проделки свои!  
Человечки повсюду влюбляются до смерти.  
Гибнут, как на войне, от несчастной любви.  
Потешался и я над людьми мягкотелыми,  
что не спят, не едят, утопая в слезах.  
С надувными сердцами, пронзенными стрелами.  
С именами, как мед на бескровных устах.  
А когда небеса вторглись в личную жизнь мою,  
в полной мере пришлось самому испытать,  
каково червячку извиваться наживкою,  
редкой бабочке смерть под иглой ожидать.  
Незавидная участь подопытных кроликов.  
Проняло-то как, ух! По весенней поре!  
До удушья, цирроза, желудочных колик, до  
дистрофии и дыр в мочевом пузыре.  
Что за гранью? Что там, в неизведанной вечности?  
Скоро все буду знать. Срок уже невелик.  
Ясно чувствую, как отмирают конечности,  
размягчается мозг, выпадает язык.

В нервной спешке никак не нащупаю пульса я.  
Выбор этот жесток: иль люби, иль живи.  
Наземь рухнув плашмя, содрогаюсь в конвульсиях  
и последний свой вздох посвящаю любви!

### **С ДУХОМ СОБРАВШИСЬ**

С духом собравшись, стою нагишом.  
Нет... Есть во что одеться.  
Грудь разрезаю острым ножом  
и вынимаю сердце.

Камерой крупно на память сниму  
вены, дуги, аорту.  
Классный моторчик! Но мне ни к чему.  
Мусор. На свалку! К черту!

Лезу смелее внутрь рукой.  
В собственном теле роюсь.  
Чуть сожалея, прощаюсь с собой  
и вынимаю совесть.

Вот она. Без угрызений. Чиста.  
Нет ни пятнышка даже.  
Сколько же стоило это труда!  
Но и ее — туда же.

### **ПРИСЯДЕМ НА ДОРОЖКУ**

С тобой отвыкли мы немножко  
от разлук.  
Давай присядем на дорожку,  
милый друг.  
Присядем и в ночи печальной  
помолчим.  
Как будто для речей прощальных  
нет причин.  
Как будто наша разделенность  
коротка,  
И Провидением дано нам  
жить века.  
Не будем порознь под вечер  
тосковать.  
А будем радость новой встречи  
ожидать.  
Ушел тихонько за окошко  
лунный круг.  
Вот и закончилась «дорожка»,  
милый друг.



### **ЗА СТЕНОЙ**

И снова не уснуть. И снова за стеной  
крещендо. Грустный опыт говорит мне,  
что смолкнут до утра их крики, стоны, вой  
не скоро в ускоряющемся ритме.

И носит этот гвалт название — интим.  
Такое вот приватное сношеньё.  
Но чтобы там они ни вытворяли, им  
мое не превзойти воображеньё.

Настал апофеоз. Теперь уже слышны  
басы пружин с фальцетом половицы.  
Во мне ведет борьбу желанье тишины  
с желанием к соседям приобщиться.

### **ВЫ ВСПОМНИТЕ**

О, граждане, к чему же вопли эти,  
похожие вполне на нервный срыв!  
Коронавирус бродит по планете,  
бумаги туалетной нас лишив?

Вы вспомните, как в прошлом, втихомолку,  
мы, не впадая в ересь сгоряча,  
использовали «Правду», «Комсомолку»,  
«Известия», брошюры Ильича.

Как все Политбюро — с доставкой на дом!  
И падало оно буквально ниц,  
когда мы впитывали, но не взглядом —  
офсетную печать передовиц.

И до конца не дочитав ни разу  
в течение облегчающих минут,  
особым смыслом наделяли фразу  
«терпение и "Труд" все перетрут».

К далеким предкам вам бы обратиться,  
они бы разъяснили, каково  
травой, камнями, даже черепицей  
свое все время чистить естество.

Проникнитесь удобствами халявы,  
что создана прогрессом наших дней,  
взгляните под собой иль под себя вы,  
и станет вам намного веселей!

### **ПОЗНАНИЕ**

Однажды я, мастак порассуждать,  
премудрым древним римлянам под стать,  
постиг, икнув и прислонясь к стене,  
что истина находится в вине.  
Но, оказавшись вдруг мудрей (сюрприз!),  
заметил, по стене сползая вниз,  
что есть она и в водке и в пивке,  
в ликере, роме, виски, коньяке.  
И, если это все перемешать,  
такую можно истину познать,  
что... тут, увы, мысль прервалась моя,  
и истина изверглась из меня.

## ГОРЬКАЯ МЕДАЛЬ

### РАССКАЗ

1962 год. Дети — четверо мальчишек и одна девчонка, — играли в «войнушку». Самому старшему, Славке, на тот момент было лет восемь, он учился в начальной школе. Остальные дети в школу еще не ходили, только мечтали об этом. На дворе лето, каникулы.

Мальчишки сначала играли без Сонечки, разделившись двое-на-двое. Вытянули жребий на камушках: темный — значит, немец, светлый — русский, и шли в атаку. Стреляли из палок. Лишь Славик имел деревянный автомат — ему дед выстрегал из доски.

«Русские» выскакивали из засады с криками на всю округу: «Бей их, гадов... Фашистов!» По незнанию, немцы у них все — фашисты. И по их плану немцы всегда должны сдаваться в плен. Появился первый «подстреленный», и тогда Славку осенило: нужна санитарка, выносить с поля боя раненых.

Розовощекий, с голубыми глазами Славик всегда был не прочь похулиганить, забраться в чужой сад за яблоками, хотя своих — вагон и маленькая тележка, поугаать из-за угла прохожего, а получив подзатыльник, продолжать проказы. Вздернутый нос и слишком большой рот, который постоянно раздвигался в улыбке, обнажая крупные зубы и дыбом поставленный вихор волос, подчеркивали его взбалмошность. Взрослые не очень любили Славку, предвидя в нем будущую шпану, а детвора, наоборот, тянулась к нему, потому что с ним весело.

Сонечка в тот момент играла на крыльце своего дома с куклами. У нее их три, одна из них самодельная, сшитая мамой и неумело раскрашенная угольком. Лицо у куклы получилось некрасивым: бровь одна выше, один глаз больше, и как ее не наряжай, все равно — ни в пир, ни в мир.

На Сонечке легкое штапельное платьице, сандалики на босу ногу. Ее круглое лицо с раскосым разрезом карих глаз обрамляла прямая челка модной прически неизвестного названия. Как у сказочного пажа. Сонечка любила свой дом и с закрытыми глазами могла опознать все его особенности.

Посеревшее от непогоды деревянное крыльцо закрывало почти половину стены дома до маленького оконца кладовой. Дом когда-то был добротный — из красного кирпича. Теперь, кое-где расклеванный воробьями, кирпич осыпался и потерял прямоугольную форму. На рамах четырех окон, распахнутых на сквозняк, потрескалась белая краска, и их неухоженность радостно прикрывали ситцевые, выбитые шитьем шторы. Цвела герань, пусть и в потрепавшейся металлической миске — Сонечке нравились на ее круглых боках зеленые крапинки. Две кровати с металлическими набалдашниками и накрахмаленными подзорами, с подушками в стопку, а еще — лоскутные одеяла, которые Сонечка особенно любила, ей никогда не надоедало вглядываться в них. Вообще, Сонечка обожала свое уютное гнездышко, и она испытывала тягу ко всему цветущему. Дом их напоминал луговое разнотравье, которое спускалось с веселых занавесок на тканые половики, как бы в тон букетику всегда свежих цветов на большом столе в центре. От выбеленных гашеной известью стен горница будто светилась. Впритык к перегородке громоздился, съеда

пространство комнаты, сундук с висячим замком. За перегородкой — русская печь и Сонечкина кровать. После, когда она будет учиться в средней школе, рядом с ее кроватью появится этажерка для книг, а сейчас она играет в куклы, и к ней прибежали раскрасневшиеся, чумадые от пыли «вояки» с предложением поиграть с ними в войну в роли санитарки.

Отряд, похожий на вышедших из окружения бойцов, представлял разношерстное войско: в разбитых ботинках, в резиновых сапогах (сапоги играли роль солдатских), в рубашках поверх шаровар. На головах у двоих сбитые набекрень кепки. У Славика черная, вышитая цветными нитками тубетейка. Лишь у Соньки по кличке Рыжий — из-за красных волос и веснушчатого лица, — была на голове пилотка с пятиконечной звездой и солдатский ремень на талии.

— Сонька, айда с нами играть в войну. Нам санитарка нужна! — кричали все наперебой. И их сучковатые палки-автоматы на веревочках через плечо были точно направлены в ее сторону.

Сонечке не хотелось играть в войну, тем более санитаркой без санитарной сумки. И уходить от дома мать не велела до ее возвращения с работы. Тогда ребятня пошла на уступки. Решили оборудовать госпиталь прямо на ее крыльце. А Мишка, с двойной кличкой Малой и Локатор — из-за маленького роста и торчащих ушей, — принес из дома матерчатую сумку с вышитым красным крестом, что от старшей сестры осталась. Когда-то та была санитаркой в начальной школе и по утрам перед уроками проверяла у своих одноклассников чистоту рук, ногтей и ушей.

Сумка Сонечке понравилась, она шустро перекинула лямку через голову и, глядя на сумку, повертелась из стороны в сторону.

— Ладно, кого лечить? Кто ранен? — уверенно и деловито произнесла она.

Шестилетняя Сонечка через год пойдет в школу, и в данный момент она для себя решила, что обязательно будет в классе санитаркой. Во-первых, это почетно — кем-нибудь быть, а во-вторых, все ее будут слушаться, чего ей как раз не хватало. Ведь слушаться в теперешней ее жизни нужно было только ей.

— Вон Витька! — показал Славик на худощавого паренька лет пяти с разорванной на коленке штаниной. Из дырки виднелась кожа, она была в ссадинах и кровоточила. Мало того, Витёк переживал не за большую коленку. Че ей будет, коленке-то, поболит и перестанет! А вот разодранные штаны... Мать может выдрать и на улицу не пустить. Что может быть еще страшнее, чем лишиться улицы?

— Он наш или фашист? — вдруг спросила она у Славика.

Славик растерялся, недолго думая, сказал, что немец.

— Немца лечить не буду! — категорично заявила девочка.

— Это ж понарошку, где мы тебе настоящего-то немца найдем?

— Не буду и все, потому что фашисты убили моего папу. Изранили его, он поэтому и умер рано! — твердо заявила Сонька, и ни в чем неповинный Витёк, кому по жребью выпало играть немца, расстроился и завыл.

— Я не немец, не фашист, я больше не буду играть! — швырнул он в сторону палку-автомат и сел прямо в пыль, размазывая по грязным щекам горючие слезы.

Славик разозлился и стал грудью наступать на слегка встревоженную Сонечку, но ни в коем случае не поддавшуюся паники.

— Ты чего, умная, что ли, очень?! Буду, не буду!.. Ты мне, что ли, игру сорвать хочешь? — растягивал он слова и уже замахнулся на взбунтовавшуюся санитарку автоматом.

— Ладно, ладно... — сделала она осторожный шагок подальше от рассерженного вояки. Подошла к рыдающему Витьку и потрепала его за плечо. — Не реви, я пошутила.

И тут же скомандовала стоящим без дела «армейцам»:

— Несите раненого в госпиталь!

И сказанное ею было так строго, что Рыжий и Серёжка по кличке Силыч — из-за нескольких побед в уличной борьбе, побросав оружие, кинулись поднимать с земли огорченного друга.

Пока они вели его до крыльца, Витёк, проявив актерские способности, вошел в роль так убедительно, что волочил свои ноги по пыли, как настоящий, теряющий от ранения силы, боец. Сонечка тем временем нарвала листья подорожника, помыла их в бочке с водой, которая стояла под яблоней и, присев на корточки возле лежащего на дощатом полу «солдата», прилепила его к больному месту, прямо через дырку на штанине.

— Лежи, не шевелись! — приказала она.

Витёк лежал неподвижно, а она перевела свое внимание на Славика.

— Ты у них командир, что ли? — подбоченясь, кивнула она в сторону остальных.

— Командир! — уверенно произнес он.

— Ага-а... а разве такие командиры бывают?

— Какие такие? — тянул слова Славик.

— Без погон, без ремня, без пилотки, без медалей? Вот Санька и то больше похож на командира.

Санька смутился, но польщенный неожиданным вниманием Сонечки, поправил перевернувшуюся горизонтально на голове пилотку и гордо выпрямил грудь.

Славик, поразмыслив несколько минут, подозвал к себе Саньку, что-то заговорщицки шепнул ему на ухо, и Рыжий, без сожаления сняв с себя пилотку и ремень, протянул все другу.

Сонечка, глубоко вздохнув, посмотрела на Саньку разочарованно.

— Ладно, если хочешь, я дам тебе на игру настоящие медали. Только обязательно верни, а то мне влетит.

Обрадованный Славик пообещал не потерять и вернуть все медали сразу после игры. В знак благодарности он заверил Сонечку, что будет ее теперь защищать от всех, кто попробует ее обидеть. На том и порешили.

Сонечка понимала, что, беря медали отца, который проливал за них кровь на фронте, как часто говорила мама, без разрешения, и знала, что будет наказана. Но осознанный порыв порадовать друга и попасть под его защиту был сильнее страха перед материнской жичиной. Тем более, медали лежали в комоде приколотыми на гимнастерке и пользы от них, с ее точки зрения, никакой, кроме слез матери, вспоминая об отце. Медалей было пять, но отколола она три, потому что на щуплой груди Славика они все равно бы все не уместились.

Наряженный дружок теперь был похож на командира и сиял от счастья, как начищенный самовар.

— Так! — сказал он. — Я меняю план. Будем играть в разведчиков. Будем брать языка! Сонька, ты шить умеешь?

— Куклам только!

— Значит, умеешь. Зашей Витьку брюки, чтоб мать его не сразу дырку заметила. — сказал, махнул призывно рукой своему отряду и умчался, звеня медалями, в сторону оврага, пересекающего овсяное поле.

Игольница висела высоко над полом на вбитом в перегородку гвозде. Сонечка забралась на сундук, подтянулась на носочках и осторожно вытащила из нее иголку с заправленной черной ниткой.

Витёк праздновал лодыря, заложив обе руки себе под голову, просто лежал, изображая раненого. Сонечка уселась рядом с ним, положила его ногу на себя и стала усердно сшивать крупным стежком через края рубчиковую ткань штанов. В таком виде их и застала Сонечкина мать.

Она была не старая и не молодая. У других матери выглядели моложе. А Сонечкина мать от тяжелого труда в прачечной «Дома младенца» и в своем хозяйстве со скотиной — поросенок, две овцы, куры и утки, да и вдовья доля сказалась — совсем растеряла свой некогда цветущий вид. Печаль пригасила молодые глаза и озабоченностью затенила лицо.

Сонечке был всего год или даже меньше, когда умер ее отец. Мать, как надела на себя черноту, так больше и не снимала. Вот и сейчас, когда она поднималась по ступенькам крыльца родного дома, веселья в ее глазах не наблюдалось.

— Чей-то вы тут разлеглись, на полу. Сонь, да ты никак шьешь?

— Витёк упал, разодрал коленку и штаны и теперь боится идти домой! — усердно петляла она нитки в шов.

Уставшая мать присела на лавку.

— Снимай, Витя, свои штаны, погляжу, чего вы тут нашили.

Мальчик медленно снимал штаны, чтобы не уколоться воткнутой в них иглой.

— Откуда у тебя сумка санитарная? — спросила мать дочь, разглядывая разорванную брючину.

— Мишка Малой дал поиграть. Я же санитарка в госпитале. С ребятами играем в войну. Вот Витёк, он раненый, и я его лечу подорожником. А сейчас отряд ушел в разведку, языка брать.

Мать растянула в усмешке губы.

Сонечка в этот момент волновалась, что ребята могут вернуться и мать узнает на груди у Славика медали.

Вскоре штаны были зашиты так, что комар носа не подточит, и довольный Витёк убежал искать своих друзей.

— Сейчас пообедаем, да я немного отдохну, полежу, устала, — сказала мать. И только сделала шаг, как ее окликнула почтальонка Клавдия по прозвищу Шлёпалка.

— Таиса, здравствуй!

— Здравсьте, тетя Клав! — опередила мать Сонечка, сбегая с порожка навстречу письмоносице. — Письмо принесли?

— Лучше! Посылку! — и, сбросив с плеча тяжелую почтовую сумку, набитую газетами и письмами, бухнулась на лавку.

Лавка стояла на кривых чурбанах, и мать подозрительно скосила глаза на ненадежную опору.

— Ну и жара сегодня, — вытерла почтальонка носовым платком лоб, щеки и шею. — Еле дотащилась, а впереди еще полсела. Щас вашу улицу обнесу и пойду домой, а вечером, по прохладце, всех обойду, — говорила она, доставая из сумки пачку квитанций, перетянутых тонкой резинкой.

Сонька от радости заверещала и нетерпеливо запрыгала:

— Ура, посылка! Теть Клав, давай ее быстрее!

— Быстрее ей! Это ведь не бандероль, а посылка, ящик! Я только квитанцию на нее принесла, а за посылкой завтра на почту пойдете! Поняла, шустрик? — сказала почтальон с улыбкой и дотронулась своим пальцем до кончика детского носа.

Почтальонка Сонечке нравилась. За доброту, которую излучала эта высокая статная женщина. За ее красоту. Но больше всего за красивые толстые косы, заколотые шпильками корзиночкой чуть выше шеи. Волосы были черными с тонкой прядью выбеленной седины ото лба до затылка. Клавдия была вдовой без вести пропавшего фронтовика. Жила в доме своих рано ушедших родителей, с двумя детьми старшекласниками и со старшей сестрой. Всю жизнь она надеялась на возвращение своего мужа, на весточку от него, что он жив, и пусть, может быть, даже и женат на другой, но только жив.

— Мам, мама, а пойдем сейчас за посылкой! В ней ведь, наверное, конфеты есть! — уперлась Сонечка руками в мамины колени и с мольбой смотрела в ее глаза.

Мать уже сидела рядом с почтальонкой и ждала, когда та даст ей распечатать в квитанции.

— Нет, сегодня мы никуда не пойдем, завтра, с утра! У меня как раз вторая смена.

Просить мать было бесполезно, и Соня в нетерпении провела весь оставшийся день. Мало того, прибежал Славик, и на груди у него было только две медали, третью он потерял где-то в засаде, и глаза его были зареваны. Искали медаль все вместе, но никому не повезло ее найти. Все мальчишки понуро разошлись по домам.

Славик снял с рубашки оставшиеся медали и передал их во вспотевшие от потрясения Сонечкины ладони. Когда мать ушла в огород полоть картошку, она достала их из тайника и приколола на прежнее место. Ей не игралось и не пелось. Ей хотелось куда-нибудь подеваться на время, хоть провалиться под землю или потеряться в лесу, чтобы мама пожалела ее, когда ее найдут после долгих поисков, и тем самым миновать неприятности, которые ждали ее впереди. Она села на порог крыльца и стала разговаривать со своей куклой.

— Знаешь, Даша, когда я стану мамой, я никогда не буду ругать свою дочку, а буду только хвалить ее и кормить конфетами. Чтоб она ничего не боялась и была самой счастливой и веселой.

Утром мать подошла к комоду. Соня замерла. Ее трясло, и внутри все болело. Притворяясь спящей, она подглядывала из-под дрожащих ресниц за действиями матери и ждала взбучку. Но мать выдвинула только верхний ящик комода, где лежали Сонечкины вещи. Достала нарядное, самой сшитое платье с кокеткой, с рукавчиком «фонарик» и белые носочки.

— Соня, быстро вставай! Или я одна пойду на почту!

Страх миновал от одного воспоминания о посылке. Соня скатилась с кровати, умылась под рукомойником, села за стол и на удивление матери съела всю манную кашу. Потом схватила с диванчика свое платье и стала его надевать. Крутнулась волчком на пяточке. Платье раскрылось куполом, приведя в восторг свою хозяйку. Соня надела носки, обула сандалии.

— Вот и все, я готова! — всплеснула она руками.

Два села: «Ирицы» и, со смешным названием, «Крендельки», разделенные незримыми границами, имели одну реку и несколько вырытых прудов — «Колхозный», «МТСовский» и «Ирицкий». В каждом селе по церкви. Только одна действующая — в «Крендельках» — храм «Воскресение Словущего». Другую, в «Ирицах», закрыли под будущий Дом культуры. Совхоз имел многочисленные добротные коровники и поля — глазом не окинешь, засеянные пшеницей, кукурузой, горохом, овсом. А вот лугов, пестрящих луговыми цветами, осталось счет на пересчет. Хозяйские коровы да козы паслись по оврагам вместе с колхозными. А оврагов здесь хватает. Местность холмистая, семь оврагов и в каждом ручей. Ранней весной несут эти ручьи бурные вешние воды с тающих на полях и буграх снегов в реку Кирица, а она в реку Проню. На каждом бугре улицы, названные «порядками». На одном таком порядке и жили Сонечка с ее мамой и другие герои рассказа.

Путь до почты не близок, километра полтора-два. По проселочной дороге шагали два человека, взрослая женщина в темной юбке и темной блузке, поверх жакет бостонский и рядом с ней девочка в цветастом штапельном платье. Прошли мимо болотца с камышами и плавающими утками с желтыми утятами.

— Ути, ути... — не забыла Сонечка покликать их.

Луг с одиноким деревом. По ранней весне дети постарше играли здесь в лапту. Красный флаг на крыше сельского совета, вздрогнув от легкого ве-

терка, помахал им вслед. А Сонечка помахала ему. Прошли мимо огородов с цветущей картошкой и вышли на широкую дорогу, по которой изредка проезжали грузовые машины. На пункт разлива керосина пропылил бензовоз. А вот и гужевой транспорт. Ленивая лошадка тащила за собой телегу с будкой хлеба в сельский магазин.

Мать и дочь шли, о чем-то разговаривая. Все больше девочка. Она приставала к матери с расспросами, держалась за ее руку и постоянно подпрыгивала, то на одной ножке, то на другой.

— Мам, а в посылке конфеты будут?

— Получим, увидим!

— Мам, а посылка большая?

— Получим — увидим!

— Хорошо бы большая и конфет в ней побольше! Мам, а если в ней нет конфет?

— Сонь, помолчи, а! Голова от тебя разболелась. И прекрати прыгать, всю руку мне оттянула.

Соня замолчала, но ненадолго.

— Мам, а посылка в авоську влезет?

— Ты опять за свое?

Соня осеклась, надула губы. И тут рядом с ними остановилась идущая навстречу женщина. С точки зрения Сонечки она была очень уж старая: в длинной черной перелицованной юбке и серой вязаной-перевязанной кофте. У висков, из-под белого ситцевого платка, вились непослушные седые волосы, а на ногах были сандалии почти такие же, как у нее, только большие.

— Тася, это ты, что ли? — сняла она с плеча сумки наперевес и поставила их на землю.

— Я! Что, трудно узнать?

— Да нет, та же походка и стать! — А я вот к сестре иду, давно не видались.

— А мы вот идем на почту за посылкой, моя сестра из Ленинграда прислала. Женщина переключила свой взгляд на Сонечку.

— Это, чья же такая хорошая девочка? — погладила она ее по мягким волосам шершавой ладонью. На-ка, возьми пряничка, съешь! — Сиротка...

— Почему-й-то она сиротка? У нее мать есть!

— Не обижайся, Тася. Я ведь не со зла. Уж больно мне жалко тебя, ведь одна с крохой на руках осталась. Эх, как время-то бежит, не ухватишь! — Как живешь-то, Тася?

— Живу... Не как хочется, а как можется.

Сонечке надоело ждать, и она стала тянуть мать за юбку.

— Щас, пойдем, пойдем!

Сонечка часто оборачивалась назад посмотреть на удаляющуюся женщину и заметила, что и она несколько раз оглядывалась, чтобы посмотреть им вслед.

— Мам, а кто такая сиротка?

— Дите без родителей!

— А так бывает?

— На белом свете все бывает!

Вот они встретили группу детей. Дети шли парами. Мальчик, девочка, мальчик, девочка. Одеты почти все одинаково. Мальчики в шароварах и в рубашках в клеточку, а девочки в платьицах невзрачно облезлых расцветок. Группу сопровождали две молодые воспитательницы с красными флажками. Дети, отселенные из семей с туберкулезом, жили в интернате на полном обеспечении.

— Здравствуйте! — нараспев кричали они каждому встречному. Поздоровались они хором и с нашими героями.

— Здравствуйте, милые, здравствуйте! — ответила им мама.

— Это кто?! — спряталась Соня за мамину спину.



— Это «интернатики», живут вон в тех домах, — показала мама на корпуса за оградой из металлических прутьев.

— Они сироты?

— Может, и сироты! — сказала мама неуверенно. — Их туда сдали за непослушание. — слукавила она. — Ты ведь тоже непослушная?

— Послушная, послушная! — заплакала Сонечка, вспомнив, что она взяла без спроса медали и забоялась, что и ее могут сдать в интернат за непослушание. Она схватила мамину юбку и так сильно зажала ее в свой кулачок, что юбка стала сползать с ее талии. — Не хочу в интернат! Не хочу в интернат! — уже билась она в истерике.

— Да что с тобой! Отпусти юбку! Спустишь ведь! С чего ты взяла, что я сдам тебя в интернат? Я без тебя и дня не проживу! — присев на корточки, мать прижимала к себе Сонечку до тех пор, пока та не успокоилась.

Вот и почта. Одноэтажное здание стояло на берегу реки одним боком к лесу, другим к воде. А главным входом и большими окнами смотрело на туберкулезный санаторий, располагающийся в старом замке, завещанном детям помещику после Октябрьской революции и затем уехавшим за границу. Замок раскинул корпуса по обе стороны пролегающей по его территории дороги, ведущей свой путь в соседнюю деревню. В этом старом корпусе лечили детей от искривления позвоночника и от туберкулеза костей. А по правую сторону, в современных корпусах, лечили взрослых больных. Санаторий стоял на взгорке в смешанном лесу. Почту и построили в этом месте, чтобы курортники могли пользоваться телеграфом, заходить в который надо было с другой стороны здания, сзади.

Наконец они получили долгожданную посылку. Сонечке она показалась большой.

— Ого! — обрадовалась она.

— Давай откроем?

— Ну что ты, Сонь?! Дома и откроем.

Мама приспособила посылку в сетку-авоську, протасила платок через ее ручки и завалила поклажу на спину.

— Может, вместе понесем? — предложила Соня. — Я тоже умею.

— Держись за подол, помощница! — улыбнулась мама, и все улыбнулись, кто был в тот час на почте.

И вот они дома. Открывание посылки — целый ритуал. Мама поставила ее на табурет и пока доставала из металлического ящика для инструментов гвоздодер, Сонечка кружила вокруг табурета в нетерпении. От посылки веяло свежей фанерой, на боку листочек-извещение с сургучной печатью, похожей на кусочек шоколада. И Сонечка надеялась, что тетушка положила для нее конфеты и, может, даже шоколадные. Ведь она же знает, как Соня любит шоколад.

Мама поддевает концом гвоздодера крышку посылки, изнутри зубастую от гвоздиков. Крышка сопротивляется маминой силе, но, наконец, сдается.

— Ура, ура... — хлопает Сонечка в ладоши.

Сверху лежит газета, мама аккуратно вытаскивает ее и кладет на стол: «После читаем, какие в Ленинграде новости...»

Соня во все глаза смотрит в посылку и ждет заветный кулек со сладостями, но она полностью забита лоскутами.

— Ой, красота-то какая! — говорила мама, вытаскивая куски материи размером с головной платок.

Сонечку не волновали эти белые клочки с черным витиеватым узором. Завитушки на ткани были то толстые, то тонкие, а маму, наоборот, такие клочки с разными рисунками только радовали.

— Ну, девка, платьев тебе нашью комбинированных, все завидовать будут! — радовалась она, прикладывая клочки к Сонечкиной фигурке.

Посылка все мелела, мелела, а конфет так и не было. У Сони задергались губы, глаза потемнели, и она была готова разреветься.

— Гляди-ка, да тут медали какие-то! — удивилась мама, развернув сверток, в котором лежали золотистые медальки. Она лукаво посмотрела на дочь, догадавшись, что это за медали. А Соня застыла и в ее голове прокручивались вчерашние события, доставившие ей неприятные минуты страха за потерю отцовской награды.

— Медальки?!. Большие?.. — всхлипывая, потянулась она к свертку.

— Всекие!

— А зачем нам медали, мам? Из лоскутов можно мне платье пошить. А медали кому?

— Да ты повнимательнее посмотри, что это за медали! — улыбалась мама.

Сонечка взяла сверток и положила его на стол. Медальки были и большие, и маленькие, штук десять и такого же размера, как на отцовой гимнастёрке были тоже. Она взяла одну.

— Мам, они же очень легкие. Не как настоящие.

— А они и есть ненастоящие! Они шоколадные!

— Шоколадные?!

Сонечка пыталась развернуть фольгу, но второпях не могла понять, как это сделать.

Она недолго возилась, нашла сбоку замятину и вскрыла фантик. Шоколадка быстро очутилась во рту. Сонечка смаковала сладость и гладила свое брюшко.

— Ооо, как вкусно!

— На тебе еще одну и хватит на сегодня! Растянем удовольствие на несколько дней.

— Мам, я сама хочу выбрать медальку.

И она долго выбирала, раскладывала в ряд, потом в стопку, потом опять в ряд и опять в стопку, наконец, выбрала размером с настоящую медаль. Мать же свернула сверток с оставшимися шоколадками и положила его на полку, которая висела возле печки. Полка была деревянная, трехэтажная, длинная, открытая, с перемычками, чтобы из нее не выпала кухонная утварь: миски, обливные тарелки, стаканы. На вбитых в нее гвоздиках висели: деревянная толкушка, половник и кружка. Под полкой на лавке стояли ведра с колодезной водой.

Сонечка, разглядывая медальку, боролась с искушением съесть ее или использовать подделкой вместо утерянной Славиком медали (эта идея пришла к ней не сразу). Страх расплаты за самовольный поступок пересилил желание. Выбрав удачный момент, Соня открыла ящик комода, где лежала аккуратно сложенная гимнастёрка и стала думать, как же ей закрепить на ней медаль-шоколадку. Она достала из игольницы иглу с ниткой, отвернула кусочек обертки, проткнула ее. Через дырочку протасила нитку, пытаясь сделать петельку, как на подушке-игольнице, чтобы прикрепить ее за пуговицу на кармане гимнастёрки. За этим занятием ее и застала мать.

Сонечка так была увлечена своим делом, что не заметила, как мама подошла к ней сзади.

— Чем это ты занимаешься? Сколько раз тебе говорила, не лазь в комод! Вечно все перекопаешь, а, как следует, не уложишь!

От неожиданности Сонечка вздрогнула и дернула медальку. Та под своей тяжестью открылась, упала, оставив верхнюю крышечку болтаться на нитке с иглой.

— Это что такое?!

Мать перевела взгляд с фантика на гимнастёрку и все поняла.

— Куда дела медаль, говори?! Говори, я тебя спрашиваю! — кричала она на нее и, выхватив из дверного косяка «жичину-учителя», взмахнув, вклепила ею по заднице раз, два, три...

— Мамочка, прости, я больше не буду! — вырываясь из жестких рук, визжала Соня.

— Тася, Тася, прекрати! Ты что? — налетела коршуном на нее внезапно вошедшая соседка.

Соня выскочила за дверь и спряталась под бугром в кустах смородины.

Рыдая, она сидела на корточках и гладила на ногах вспухшие от жичины рубцы. Сейчас она была обижена на мать, и ей хотелось отомстить, да хоть в лес уйти на съедение волкам. Будет потом знать, как лупить ее. Лес был рядом, за полем, а поле почти в аккурат примыкало к их огороду. Сонечка выбралась из смородины и пошла по оврагу к лесу. В конце уличного порядка, который тянулся вдоль оврага, у крайнего бревенчатого дома с высокой террасой, обнесенного забором из кольев, стояла привязанная к нему вожжами, в серых яблочках незнакомая ей лошадь. Лошадь щипала траву, фыркала ноздрями, и кивала головой, сбивая назойливую мошкарку. С холки стекала ухоженная шелковистая грива, а сзади то и дело мотался из стороны в сторону длинный хвост, отгоняя назойливых оводов и мух. Хозяева дома Карп и Зоя с гостем пили чай на террасе. Их малолетние дети играли за домом в песочнице. Девочку звали Верочкой, с Сонечкой они были одноклассниками и подружками и, как показала жизнь, не разлей вода до самой старости.

Что толкнуло Соню подойти поближе к лошади без опаски? Детское любопытство или одиночество, которое она ощущала в данный момент? Трудно сказать...

— Хорошо тебе, лошадка... Щиплешь свою траву и щиплешь. И не нужно тебе ни с кем дружить, ни со Славиком и ни с кем, ни с кем...

Сонечка стояла рядом с лошадью, та махнула хвостом и нечаянно хлестнула ее по лицу. Жесткий конский волос больно кольнул глаз. Соня вскрикнула и от двойной обиды зашла в истерику, держась за больное место, стучала по земле ногами и кричала на всю округу. Лошадь забеспокоилась, дернула головой и забила задними копытами. Из дома на крик выбежали люди. Некрупный усатый мужчина лет сорока шустро подбежал к лошади, ударил ее по крупу хворостинкой и, резко дергая за удила, закричал вперемешку с матом: «Стоять, шалава!»

Лошадь, потоптавшись на месте, несколько раз поднималась на дыбы и, наконец, утихла. Женские руки подхватили Сонечку, усадили на чьи-то колени и стали ее гладить. По знакомому ей ласковому голосу подружкиной матери она догадалась, чьи это руки, но сейчас ей не хватало маминых рук, и она стала рыдать еще громче. Всем не терпелось посмотреть на Сонечкин глаз, цел или нет. И Верочке тоже. Она крутилась возле подружки и гладила ее по волосам. И когда Соня оторвала руки от лица, все поняли, что глаз цел, только сильно покраснел. Прибежала взволнованная мать, не надеясь увидеть свою дочь живой, и набросилась на мужика с руганью, что привязывает брыкучую лошадку, где попало. Новость, что Соньку забрыкала лошадка, она узнала от прибежавших к ней, откуда ни возьмись, очевидцев происшедшего, уличных детей.

Увидев дочь целой и невредимой, она вдруг почувствовала слабость в ногах и рухнула на бревна у изгороди и, закрыв глаза уголком косынки, зарыдала.

— Теть Тась, успокойся, все же обошлось! На, выпей валерьяночки. — протянула ей мензурку Зоя, работающая медсестрой в «Доме младенца».

До самого вечера в доме была тишина. Мать молчала, надрывая сердце воображением, что бы творилось вокруг, если бы Соньку убила лошадка. Она представляла ее бездыханное тельце с проломленным черепом и от яркости реальных картин, сменяющих друг друга, бормотала слова благодарности

за спасение ее чада в адрес Всевышнего, закрепляя их крестом и поклоном перед иконой Спасителя. После открыла комод, погладила слабой рукой гимнастерку, посмотрела на фотографию мужа на стене и, не найдя в его глазах сочувствия, переложила ее в самый дальний угол комода, под тряпье, с глаз долой.

Прошло много лет. Выросла Соня, уехала в город работать и учиться. Разъехались кто-куда и ее друзья детства. Но незабываемая дружба сводила их несколько раз вместе в трудные минуты потерь или минуты свадебных радостей.

В один из таких дней ей пришло письмо от Веры, что Санька Рыжий погиб в Афганистане, подорвался на mine. На похороны приехали те, кто смог, и после поминок мать Саньки достала альбом с его фотографиями и шкатулочку с письмами из армии.

В последнем письме он просил у друзей прощения и, в частности, у Сони за то, что медаль, которую потерял Славик, нашел он, но не признался сразу. Хотел поиграть дома в солдата-героя. А позже было стыдно признаться, что медаль у него. Так и жил с камнем на сердце всю жизнь. Медаль лежала в шкатулке под письмами. Дрожащей рукой мать достала ее, положила на ладонь и другой ладонью погладила.

— Ты уж прости его, Соня, я ничего не знала. Нашла в его ящичке, где его всякие безделушки лежали.

Соня взяла медаль, и все явилось ей, как в тот самый день. И их игра, и медицинская сумка, и потерянная медаль, и расплата за нее. Славик молчал, опустив голову. На тумбочке у телевизора неммым укором обжигал сердце портрет солдата с черной лентой. Соня подошла, взяла в руки рамочку, прижала к груди. И неожиданно почувствовала Саньку. Не этого взрослого, ответственного, какого не знала она, а Рыжего бескорыстного мальчугана Саньку, который не пожалел ни ремня, ни пилотки со звездой для друга и только не справился с медалью, удержал, как будто готовил себе горькое пророчество будущего подвига.

*Февраль–октябрь 2017 г.*

## УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

ОЧЕРК

Имя **Григория Львовича Абрамовича** (1903–1979) было в свое время на слуху у всей учащейся молодежи. По его учебникам в 1930-е годы изучали русскую литературу школьники старших классов, а в 1950–1970-е годы его новый учебник, «Введение в литературоведение», постигали уже студенты-филологи педвузов и университетов. Он и сам всегда находился среди молодых и, стоя за кафедрой, обучал не только тем или иным теориям, но и фундаментальным представлениям о добром и вечном. Обучая, он и сам не останавливался в освоении всего нового. В силу своей скромности, Григорий Львович не очень-то любил распространяться о прошлом, потому это придется сделать нам, его потомкам...

И начать рассказ об Абрамовиче надлежит с Риги позапрошлого столетия, тогдашней столицы Лифляндской губернии. Еще в конце 1850-х годов евреи получили здесь право жительства, а к концу XIX столетия число их составляло уже почти 8% городского населения. Причем среди местных евреев образовалась группа богатых купцов и предпринимателей, преуспевших в банковском деле, торговле лесом, зерном и льном. Им принадлежали многочисленные лесопильни, предприятия легкой промышленности, большинство магазинов готовой одежды и т. д. В еврейской общине города была заметна и семья Абрамовичей. Один из них, Рафаил Абрамович (1880–1963), впоследствии уйдет в политику и станет видным меньшевиком.

Лейб Ноах (на русский манер Лев Николаевич) Абрамович (1869–1937) был сыном преуспевающего рижского предпринимателя, торговавшего чаем и специями, человека светского и по тем временам довольно продвинутого. Он не говорил с сыном на идише, не призывал его соблюдать религиозные обряды, да и в хедер не определил. Для него еврейство было скорее культурным, а не религиозным феноменом. Поэтому он вознамерился дать сыну широкое светское образование. С этой целью он определил Льва в Рижскую Александровскую мужскую гимназию, где тот прилежно и успешно учился, проявляя повышенный интерес как к естественным, так и гуманитарным наукам, но особенно к русской литературе. Однако, к вящему огорчению отца, сын вместо того, чтобы отдаться сугубо практическому делу, проводил часы досуга в театральной студии, где самозабвенно играл нередко и главные роли. Но здравый смысл в юноше, наконец, возобладал, и Лев, вняв резонам отца, решает стать провизором.

Преодолев необходимую для иудеев процентную норму, он поступает в Казанский университет. В этом прославленном учебном заведении, где преподавали химики с мировым именем:

Александр Бутлеров, Николай Зинин, Флавиан Флавицкий и др., юноша проявил недюжинные способности. Наряду с интересом к латинскому языку (распространенному в Европе в фармакологии еще с XV века), без чего не могли обойтись медики всякого профиля (а тем более фармацевты), Лейб увлекся русской литературой и бегал на историко-филологический факультет, где жадно слушал лекции историка литературы Александра Архангельского и знатока русского поэтического языка Евгения Будде.

Но особую душевную пользу находил он в лекциях историка Дмитрия Корсакова, заведующего университетским музеем отечествоведения. Вместе с тем он продолжал играть на любительской сцене, слыл весельчаком и остроумцем и всегда был душой компании, завсегдатаем студенческих посиделок.

Каникулы Лев по обыкновению проводил в семейном кругу в Риге. В один из таких приездов решилась его судьба. Он женился на девушке из «хорошей еврейской семьи» Кларе Перельман (1873–1917), которая ко времени их встречи успела получить аттестат Ломоносовской женской гимназии. Лев с женой переехал в уездный город Елец Орловской губернии, где Абрамовичу было дозволено работать помощником аптекаря. Здесь же, в Ельце, в 1903 году и родился Григорий, единственный сын у родителей. В 1901 году родилась старшая дочь Елена, а в 1910 году — сестра Мария.

Вскоре семья переехала в Нижний Новгород, где Лев Николаевич стал единоличным владельцем большой аптеки. Надо сказать, что Нижний стал доступен для некоторых категорий иудеев (прежде всего, «николаевских солдат», впоследствии ставших купцами и мещанами) только в середине XIX века, и к началу XX-го число нижегородцев-евреев составило 2,5 тыс. человек. Была здесь и синагога, построенная в 1883 году.

Едва научившись читать, Григорий пристрастился к чтению. В этом, впрочем, не было ничего необычного, ибо сочинения Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого в конце XIX века стали родными для сотен тысяч ассимилированных евреев империи (не секрет, что основными книгочеями русских библиотек в конце XIX века стали именно евреи). Впоследствии, уже в зрелом возрасте, он скажет, что всегда воспринимал художественные тексты как «осердеченные мысли». По его словам, надо было «вставать на цыпочки», чтобы дотянуться до произведений русской классики. Его чтением поначалу руководила бабушка, но и отец всячески поощрял увлечение сына словесностью и специально для него выписал журнал «Чтец-декламатор».

Пройдя через рогатки пресловутой процентной нормы и не без помощи отца (ссудившего Грише 20 руб.), он поступил в Нижегородскую губернскую мужскую гимназию. Само ее просторное трехэтажное здание с дорическими колоннами на Тихоновской ул., д. 1 настраивало на самый серьезный лад. Гимназия славилась высоким уровнем преподавания, так что учиться здесь было почетно и престижно.

Неслучайно среди ее выпускников были видные деятели науки и культуры; писатель Пётр Боборыкин, автор сочинения об этой своей alma mater «В путь-дорогу» (Т. 1–3, 1864), назвал эту гимназию не иначе, как «культурной молекулой»; классик белорусской литературы Максим Богданович; поэт и критик Борис Садовской; этнограф Иван Сахаров; философы Василий Розанов и Семён Франк; композиторы Милий Балакирев и Сергей Ляпунов; эколог Александр Формозов; гигиенист Алексей Сысин; химик Алексей Фаворский, изобретатель русской автоматической наборной машины Пётр Княгинский и другие российские подвижники. Преподавание было далеко от политики и ориентировано на получение фундаментальных знаний. Интересно, что из гимназии вышли такие антогонисты, как член III-й Государственной думы кадет, ненавистник большевизма Георгий Килевейн и — в противовес ему — будущий председатель ВЦИК Яков Свердлов. Директором гимназии был Илья Баранов,

человек энциклопедических знаний, видный историк, юрист, и статский генерал. Он покровительствовал всем, кто успешно закончил курс, и субсидировал их обучение уже в высшей школе.

Евреи чувствовали себя в гимназии достаточно свободно. Их освобождали от обязательного для православных Закона Божьего, посещения занятий по субботам и религиозным праздникам, предоставляли кошерную пищу. Хотя, по словам Шолома Алейхема, существовала такая тенденция: даже если в гимназию попадал еврей из ортодоксальной семьи, к концу курса от его веры обычно мало что оставалось. Тем не менее Григорий, не искушенный в знании Торы и Талмуда, проявлял повышенный интерес к русско-еврейской теме. В его память врезались горькие слова из «Записок еврея» (1873) Григория Богрова: «Быть евреем — самое тяжкое преступление; это вина ни чем не искупимая; это пятно ни чем не смываемое; это клеймо, напечатлеваемое судьбою в первый момент рождения; это призывный сигнал для всех обвинений; это каинский знак на челе неповинного, но осужденного заранее человека. Стон еврея ни в ком не возбуждает сострадания. Поделом тебе: не будь евреем. Нет, и этого еще мало! Не родись евреем». Сильное впечатление произвел на Григория роман Шолома Алейхема «Кровавая шутка» (1913) — своего рода реинкарнация бродячего литературного сюжета переодевания (применительно к России времени дела Менахема Бейлиса) — о том, как еврейский и русский юноши забавы ради обменялись паспортами, в результате чего русский с паспортом иудея чуть не лишился жизни. И все потому, что никак не мог вжиться в психологию еврея, свыкнуться с новоприобретенным им «каинским знаком». Подтверждение своим сокровенным мыслям Григорий находил и в русской словесности, на которой был воспитан. Скажем, у Михаила Салтыкова-Щедрина: «Дерунов-русский — это только лишь Дерунов и ничего более, а Дерунов-еврей — это именно еврей, олицетворяющий все еврейское. И такого еврея непременно навяжут всему еврейскому племени и будут при этом на все лады кричать: ату!» Потому, наверное, Григорий остро переживал, когда слышал о каком-нибудь еврейском мерзавце. Уж он-то будет идти по жизни честно и прямо и никогда не опозорит своего народа. Он твердил нравственные постулаты великого древнееврейского мудреца Гилеля: «Если я не за себя, то кто же за меня? Но если я только за себя, то зачем я?». Любил он и поэта Семёна Надсона и, прежде всего, его пронзительное юдофильское стихотворение «Я рос тебе чужим, отверженный народ...» (1885), созвучное его мыслям и чувствам.

Учителя жаловались, что у гимназистов наблюдается общее «падение интереса к литературе», «неслыханная убыль душ». Это неудивительно, ибо, согласно циркулярам Министерства народного просвещения, обязательными для чтения стали тексты Фаддея Булгарина и Николая Греча, тусклые и поверхностные. Но были и писатели, сыгравшие при его выборе о будущей профессии весьма существенную роль: Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Достоевский, Толстой и др.

Именно в гимназии задумался Григорий над природой художественного слова. На уроке словесности директор Баранов дал определение, запомнившееся нашему школяру на всю жизнь: «Образ прекрасен и сам собой, и бесконечностью за ним лежащей дали». Слова эти стали для него откровением, и наш гимназист задался целью охватить умом, почувствовать всем сердцем эту неведомую даль, что так манила его. А еще Баранов напутствовал гимназистов словами гоголевского учителя Александра Петровича (восхитивший к Андрею Тетентникову из 2-го тома «Мертвых душ»): «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!..».

В Нижегородской гимназии не было литературных объединений, театральных постановок, утренников, концертов. Зато гимназисты посещали культурный кружок при Нижегородском университете, где разделяли досуг, что, как им мнилось, шло на общую пользу. Кружок окончательно оформился в мае 1919 года и, хотя обладал общеуниверситетским статусом, организационно был связан с историко-филологическим факультетом. Среди участников этого объединения были модные тогда символисты, акмеисты, а также имажинисты, футуристы, крестьянские поэты и др. Завсегдатаями были драматурги Лариса Рейснер и Всеволод Вишневский. К ним примыкал и даровитый писатель Фёдор Крюков, перу которого принадлежит блестящий рассказ о паломниках в Саровской обители. В разгар первой мировой войны кружковцы смогли выпустить «Нижегородский альманах» (1916). Естественно, что они с напряженным интересом и вниманием следили за бурной культурной жизнью обеих столиц. При этом каждый, и Григорий в том числе, имел свои литературные предпочтения.

Символизм привлекал стремлением включить в круг своих тем все явления мировой культуры, которых отличали принципы «чистого искусства». При этом само искусство понималось как накопитель и хранитель прекрасного чистого опыта и истинного знания. Одним из родоначальников движения стал Фёдор Тютчев с его «Silentium», это стихотворение своего рода эталон русского символизма. Велась работа над интерпретацией «панэстетизма», смешивая его со все более актуальными религиозными и мифотворческими исканиями. Решающую роль сыграл здесь философ Владимир Соловьёв с его Софиологией, соборностью, идеалом «цельного знания», стремлением к объединению эпистемологии с этикой и эстетикой, культ вечной Женщины, объединение церковью и т. д.

Акмеизм в известной мере противостоял символизму. Его адепты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова. Основателями направления были Николай Гумилёв и Сергей Городецкий и др.

Футуризм, одно из первых авангардных течений, возглавил Владимир Маяковский. Провозглашая себя прообразом искусства будущего, футуризм настаивал на крушении культурных стереотипов, предлагая апологию техники и урбанизма. Среди них выделялся эгофутуризм — движение кратковременное и эфемерное — хотя и считался весьма влиятельным. Первоначально они назывались бюджетянами (термин был образован от словоформы «будет»), подчеркивая тем самым «борьбу за революцию в искусстве». В их совместной декларации «Слово как таковое» (1913) они писали: «Живописцы бюджетяне любят пользоваться частями тел, разрезами, а бюджетяне речетворцы — разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумь). Вообще, эгофутуристы изживали стиль и переходили в другие жанры, а кое-кто и вовсе оставлял.

Особняком в поэзии творчества того времени стоял имажинизм, на стиль и общее поведение которого в значительной степени оказал влияние футуризм. Цель творчества имажинистов состояла в создании образа, а основное выразительное средство — метафора. Для их творческой практики характерен эпатаж, анархические мотивы. Эти идеи разделяли самые разные поэты — от Рюрика Ивнева до Николая Эрдымана.

Понятие «крестьянские поэты» отражало лишь некоторые общие черты, присущие миропониманию и поэтической манере. Причисляемые к этому направлению поэты (среди них следует, прежде всего, назвать Сергея Есенина) себя так не называли и не образцовывали объединения с единой поэтической платформой. Однако всем «новокрестьянским поэтам» была свойственна связь с миром природы и фольклором.



Тогда же и начал зарождаться так называемый Пролеткульт, превратившийся вскоре в массовую организацию и имевший свои филиалы в целом ряде городов. По данным 1920 годов, в его рядах насчитывалось около 80 тыс. человек; издавалось 20 журналов. По мнению идеолога социализма Александра Богданова, любое произведение искусства отражает интересы и мировоззрение одного только класса (рабовладельческого, помещичьего, буржуазного, крестьянского) и потому непригодно для другого, поскольку «пролетарский опыт иной, чем у старых классов». Целью организации декларировалось развитие пролетарской культуры, являвших собой динамичную систему элементов сознания, управляемую социальной практикой; пролетариат как класс ее реализует. Искусство способно более эффективно «вести вперед, к светлому будущему». Оно же систематизирует, но только не в «отвлеченных понятиях», а в «живых образах», и не просто отражает действительность, но воспитывает, дает «строй мыслей», направляет волю. Поэтому для окончательной победы пролетариата необходима его «культурная независимость». При этом и само творчество провозглашалось «видом труда», а культура — «совокупностью организационных методов и форм коллектива». Таким образом, пролеткульт решал две задачи — разрушить старую дворянскую культуру и создать новую, пролетарскую. Однако вторая задача решена не была и так и не вышла за рамки неудачного экспериментаторства. Так или иначе, вместо единого Пролеткульта стали создаваться отдельные, самостоятельные объединения пролетарских писателей.

Доходили до Нижнего и вести о работе собственно петроградских научных кружков. Одним из наиболее ранних (1916) и ярких объединений стало общество изучения теории поэтического языка, созданное группой теоретиков и историков литературы, лингвистов, стиховедов — ОПОЯЗ — представителей так называемой «формальной школы», оказавших влияние на теоретическое литературоведение и семиотику. Их манифестом принято считать ранние работы Виктора Шкловского, в том числе «Искусство как прием» (1917), в которой резко критиковался подход к литературе как к «системе образов» и выдвигался тезис о сумме приемов художника. Такой формальный метод в литературоведении подвергся жесткой критике, а затем беспрецедентной травле со стороны коммунистических идеологов официального литературоведения. После «проработочных» кампаний само слово «формализм» превратилось в ругательство и в статью политического обвинения.

Надо сказать, что нижегородские кружковцы активно включались во всеобщие дискуссии, склоняясь то к одному, то к другому из новейших культурных течений. Иногда к ним наезжали подлинные литературные знаменитости. Сюда неоднократно наезжали известный знаток античности Алексей Лосев, видный психолог Павел Попов; германист Вильгельм Иогансон и многие другие. Одним из руководителей кружка был нижегородский поэт Григорий Шмерельсон. Характерно его объявление, побуждавшее гимназистов записываться в объединение: «От свободной мастерской по починке стихов, рефератов, докладов, лекций и прочее, а также музыкальных композиций и голосовых связок при литературно-художественном кружке Нижегородского Государственного университета». При этом отстаивание различных мнений доходило подчас даже до мордобоя. Современник свидетельствовал: «Чтение стихов в комнате поэта Шмерельсона вначале происходили нормально, корректно. Но как только начиналась дискуссия на тему "Маяковский и Есенин" или о Пушкине и Фете — диспуты превращались в нешуточную драку поэтов. Спорили поэты-футуристы, которые группировались вокруг поэта эгофутуриста Константина Олимпова и "крестьянских поэтов". Подчас ненависть к Маяковскому не имела предела. А Шмерельсон и группа футуристов не только были за Маяковского и Есенина, но и всячески показывали их гениальность». Рабо-

та этого кружка вызвала появление в Нижнем Новгороде собственного отделения Всероссийского союза поэтов.

Особенно значимым событием стал приезд в Нижний Максима Горького, о котором только и говорили, что он поставил цель «сильно толкнуть русское художественное творчество». Это по его инициативе в Петрограде, в доме на Мойке, были основаны Дом искусств, Литературная студия и Клуб, объединившие литераторов, художников, музыкантов, актеров и т. д., и некоторые нижегородцы охотно их посещали. Открылось здесь и издательство «Всемирная литература» — любимое детище Горького. Для реализации его грандиозной программы нужны были высококвалифицированные кадры переводчиков, а таковых явно не хватало, потому требовалось воспитать литературно одаренную молодежь. Семинаром по поэзии руководил Николай Гумилёв; объединение критиков возглавил Корней Чуковский, а когда семинар последнего прекратил свое существование, ему на смену пришел Евгений Замятин, который требовал от учеников полного отказа от общепринятых авторских ремарок к прямой речи. Художественному переводу стихов был посвящен семинар Михаила Лозинского, ученицы которого называли себя «изысканные лозинистки». Теорию стихосложения читал поэт Владимир Пяст. Несмотря на его искушенность в искусстве декламации, насмешники аттестовали его лекции «стихопястикой». Подвизался в Доме искусств «фантазер и выдумщик» Александр Грин, представитель неоромантизма с элементами символической романтики. Слывший «натурой замкнутой», он пользовался здесь немалым авторитетом, ибо как раз работал тогда над рассказом «Крысолов» (1924), который, по мнению критиков, замыкал цепь ярчайших произведений о старом Петрограде.

Это под эгидой Горького кружок переводчиков и поэтов постепенно превратился в литературную студию под названием «Серапионовы братья», участниками которой были Лев Лунц, Илья Груздев, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Константин Федин, Всеволод Иванов и др. Наиболее полно их позиции выразил Лунц: «С кем же вы, Серапионовы братья? С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции?». — «Я не коммунист, не монархист», — прозвучал ответ: «Мы с пустынным Серапионом». В своих декларациях объединение, в противовес принципам пролетарской культуры, подчеркивало свою аполитичность. «Мы пишем не для пропаганды», — подчеркивали «серапионы». А с точки зрения партийной критики, это объединение отражало идеологию «растерявшейся буржуазной интеллигенции». В то же время пестроту идеологических убеждений признавали сами «братья»: «У каждого из нас есть идеология, есть и политические убеждения, каждый хату свою в свой цвет красит». Но в конце концов многие из них приняли платформу советской власти.

А в Москве было организовано объединение ЛЕФ (Левый фронт). С ним сотрудничали некоторые филологи из ОПОЯЗа. Ядром ЛЕФа стали бывшие футуристы. В пику Пролеткульту ЛЕФ считал себя единственным настоящим представителем революционного искусства и настойчиво противопоставлялся пролетарским группам. На позициях ЛЕФа, помимо Маяковского, стояли Алексей Кручёных, Семён Кирсанов, Василий Каменский, Виктор Шкловский, Лев Кассиль, Исаак Бабель др. Основные принципы его деятельности — литература факта (отмена вымысла в пользу документальности), производственное искусство, социальный заказ.

Но вернемся в Нижний Новгород. В 1918 году Абрамович едва успел окончить гимназию, как та была закрыта большевиками. Произошло это после того, как власть в городе перешла в руки Военно-революционных отрядов Красной гвардии, которые разогнали городскую Думу и газету «Нижегородский листок». Бессменного директора гимназии, генерала Баранова уволили

как элемента «неблагонадежного и чуждого принципам советской власти». Невольно пострадал и Григорий, которого по доносам недоброжелателей тоже обвинили во всех смертных грехах. Сыграло здесь роль и стремление доморощенных карьеристов выслужиться перед гонителями проштрафившегося директора, чьим «любимчиком» он слыл.

Он отправился в Москву, куда ранее перебрался товарищ его детства Володя Шешкин, который вместе с матерью жил в подвале многоквартирного дома. Шешкины его радушно приняли, и хотя ему пришлось спать на полу, на судьбу Григорий не сетовал. К тому же, мать Володи всячески его баловала: замечательно пекла пироги с картофелем, что по тем голодным временам было настоящим деликатесом.

Абрамович решил поступить в Московский университет, но документы на историко-филологический факультет у него даже не приняли. А все потому, что новой властью был взят курс на «пролетаризацию» образования, а он, сын провизора, то есть происхождения непролетарского, обучаться в главном вузе страны не мог. Для Григория это было неожиданным и тяжелым ударом. Но он верил в себя. И руководством к действию стали для него слова того гоголевского учителя: «Вперед! Поднимайся скорее на ноги, несмотря на то, что ты упал».

Случайно встретив недавно перебравшегося в Москву Шмерельсона, он узнал от него, что здесь открылся Институт слова, готовивший педагогов-словесников общей школы, преподавателей искусства речи, а также ораторов, поэтов и певцов. Все только и говорили о «народнении нового расадника знаний в области искусства», о тенденциях поиска новой общности. Сам нарком Анатолий Луначарский объявил целью этого заведения «расширение и развитие в индивидууме способности выражать собственные чувства, влиять на других и импровизировать» и настоял на том, чтобы ввести в преподавание курс: «Дидактика и психология толпы и слушателей». По тем временам это была универсальная, подлинно новаторская программа. Живое слово изучалось здесь во всех его ипостасях — с точки зрения филологии, лингвистики, декламации, музыки, психологии, социологии. Поначалу сюда было зачислено 800 человек, но осталось после первого года только 105 человек, к концу же обучения — всего четыре десятка студентов, а выпущены были и вовсе единицы. Нарком Луначарский требовал, что нужно «уметь разглядеть гигантское историческое явление, именуемое пролетарской революцией в России... Эта творческая жизнь рисуется нам вдали, в такой степени интенсивности и размаха, что все существующее ныне и делаемое сейчас должно казаться малым и ничтожным». Он указывал и на то, что русская революция шествует под знаменем освобождения труда и строительства духовной культуры, и одним из звеньев, и одним из элементов этого великого строительства должен стать Государственный институт декламации. Он был открыт осенью 1920 на Большой Никитской, 21, и просуществовал до 1922 года.

Возглавил его теоретик искусства декламации Василий Сережников (1885–1952). Впоследствии он был репрессирован и сослан в Казахстан, потому на долгое время оказался почти полностью забытым. Между тем, это он пустил в ход так называемую «многоголосную декламацию», заставляя учащихся читать стихи с раздачей голосов, что было теснейшим образом связано с эстетикой звучащей художественной речи. Однако преподавание было лишено общих принципов, и студенты постигали лишь отрывочные теоретические сведения, в декламаторской же практике они по существу были предоставлены сами себе. Неслучайно Александр Залишняк сетовал на общий хаос, говорил о «невероятной каше», о том, что у большинства студентов не было ни сценических, ни голосовых дикционных данных.

Среди лекторов было много известных писателей, ученых, искусствоведов, критиков, таких, как Юрий Стеклов, Борис Пастернак, Валерий Брюсов, Петр Боборыкин, Борис Пильняк, Георгий Чулков, Зинаида Гиппиус, Вячеслав Иванов, князь Сергей Волконский, Михаил Кузьмин, Николай Пиксанов, Юрий Верховский и др. Интересно, что поэт и историк литературы Юрий Верховский разделял современных стихотворцев на поэтов-певцов, поэтов образных, поэтов мысли. Андрей Белый читал курс лекций по ритмическому жесту. А профессор Фёдор Заседателев преподавал анатомию, ларингологию и физиологию дыхания. Композитор Александр Титов проводил занятия по балетной гимнастике.

В разное время преподавателями института были специалисты по методологии литературоведения Пётр Коган и Павел Сакулин, автор известных толковых словарей русского языка Дмитрий Ушаков. Руководители придавали важную роль не только специальному, но и общему образованию. С этой целью были привлечены философы Иван Ильин и Николай Бердяев, филологи Михаил Бахтин и Юрий Айхенвальд, переводчики Сергей Шервинский и Иван Кашкин. Все они формировали ум и душу московских студентов.

И лекторы, и учащиеся Института часто ездили по городам и весям России. Наезжали они и в Петроград, где существовал свой Институт Живого слова (не последнюю роль в его создании сыграл Николай Гумилёв), конкурировавший с московским. Их внимание также привлекали просвещающие лекции, семинары, литературные дебаты. Встречи с Юрием Тыняновым, Виктором Шкловским, Борисом Эйхенбаумом, Романом Якобсоном, Осипом Брикком, Сергеем Берштейном, Сергеем Бонди, Борисом Томашевским, Львом Щербой, Александром Шахматовым, Аркадием Горнфельдом, Анатолием Кони, Юрием Верховским были не только познавательны, но и открывали новые духовные горизонты.

Григорий тогда еще не знал, что по завершении учебы в 1922 году наденет солдатскую шинель. Надо сказать, что впоследствии друзья подтрунивали над ним, говоря, что представить рафинированного интеллигента Григория на лошади выше их сил. А тогда товарищ Абрамович был призван на действительную военную службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, то проходить такую надлежало на Дальнем Востоке. Перевалочным пунктом значился Благовещенск, а местом окончательной дислокации — участок советско-китайской границы, что по реке Амур. Всего там проживало до 200 тысяч белоэмигрантов — как правило, лица без гражданств и, хотя военных действий там не велось, с китайской стороны можно было слышать забористый мат в адрес «жидов и комиссаров». Среди таковых наблюдался рост антисемитских выступлений: и недаром почти половина евреев уехали из приграничных в крупные китайские города (Шанхай, Пекин и др.).

В военной части нашего «хлюпика в пенсне» встретили без особой радости. — «Эй, фигура, как твое заглавие?» — обратился к Григорию командир и, услышав чисто еврейскую фамилию, отнюдь не подобрел. Не знаем, отличился ли рядовой Абрамович в армейской подготовке, только вскоре он стал любим и уважаем почти всем личным составом полка. А все из-за своей одержимости литературой, к которой всячески стремился приобщить красноармейцев. Ему даже удалось убедить начальство открыть в части литературный клуб, который в честь популярного тогда романа Гарриэт Бичер-Стоу назвали «Хижиной дяди Тома» (1852). И красноармейцы прониклись сочувствием и горечью по поводу того, что в истории существовало такое позорное клеймо, как рабовладение. Солдаты повторяли чрезвычайно популярные тогда слова песни пролетарского поэта Василия Князева, получившее название «Песня коммуны»:

Нас не сломит нужда,  
 Не согнет нас беда,  
 Рок капризный не властен над нами.  
 Никогда! Никогда!  
 Никогда! Никогда!  
 Коммунары не будут рабами!

Тогда еще никто не предполагал, что Князев, автор этих слов, будет репрессирован и реабилитирован только после разоблачения культа личности...

Но Григорий читал бойцам не только революционные стихи. Он декламировал Пушкина, Тютчева, Блока, еще не окончательно запрещенного тогда Гумилёва. Да и сам писал стихи, причем, как это подобает юноше, конечно же, о любви:

В низком домике девочка в белом...  
 Где ты, девочка? В грозные ночи  
 Слышен плач озлобленных ветров.  
 Я грущу, я соскучился очень,  
 Я не думал, что это любовь.

Хорошо, что он вовремя понял: рифмовать и изощряться в сочинении бериме, острословить, как некогда его отец, он еще мог, но большая поэзия — не его амплуа. А что же девочка в белом? Тоска по той, что вдохновила его неокрепшую Музу, скоро минет. Сколько их будет потом, этих девочек! Как будто это о нем сказал Есенин: «Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом». И он долго еще будет искать свою Прекрасную даму. Сохранился его портрет тех лет в буденновке (чем не «комиссар в пыльном шлеме»!), где из-под пенсне (у него, между прочим, была близорукость — минус 6) на нас смотрят такие глубокие, не по-юношески мудрые глаза.

Но отшумели злые дальневосточные ветры, подошла к концу и армейская служба. Лейтенант запаса Григорий Абрамович возвращается в Москву. Преподавателей словесности, да еще дипломированных и политически грамотных, в то время остро не хватало. Потому в столичном отделении Наркомпроса его приветили и буквально забросали предложениями. Со свойственной ему энергией он учительствует сразу в двух московских школах — в общеобразовательной дневной (средние классы) и вечерней (рабочей молодежи). Получает комнатенку в подвале дома на Разгуляе и первым делом переселяет туда любимую бабушку Анну Григорьевну, фактически заменившую ему рано умершую мать и заботившуюся о своем Грише до самой своей смерти. Она берет на себя все домашние заботы, балует внука любимыми блюдами. Вскоре в Москву перебрались и его сестры Елена и Мария. Нередко к ним в подземелье наведывался и отец, всегда с пустыми руками, но с неизменными остротами и прибаутками...

Словесник Абрамович сразу же завоевывает аудиторию, а все потому, что заражает учеников своей страстностью и любовью к литературе, заставляет их думать, помогает формулировать и высказывать свое мнение. И апеллирует не только к их уму, но и к чувствам. Даже цепи классового подхода, которыми, как и всякий правоверный советский педагог-марксист, он был окован, не могли заглушить в его выступлениях живую душу литературы, и говорит о высокой точности и экономности языка произведения искусства, о творческих муках писателя, прежде чем будет найдено слово не просто нужное, но единственное и неизбежное. Однажды в качестве примера он привел строки из тютчевского стихотворения «Есть в осени первоначальной...»:

Лишь паутины тонкий волос  
Блестит на праздной борозде...

— «Это слово "праздной", как будто, бессмысленно, — обратился он к классу, — и не в поэзии так сказать нельзя, а между тем здесь сразу разом все схвачено: что работы окончены, все убрали, и впечатление получается полным. Выражение художественной мысли предстает в предельно сжатой форме».

Вел Абрамович и факультативные занятия: организовал литературный кружок, где, в частности, обсуждал со школьниками произведения своего любимого Фёдора Достоевского. Среди кружковцев была тогда и совсем юная Женья (в будущем Евгения Анатольевна) Иванчикова, впоследствии крупный лингвист, доктор филологии, исследователь языка художественной прозы Достоевского. В будущем она станет его большим другом, но при этом с самого начала девочка зареклась, что встретится с любимым учителем только когда сама «достигнет степеней известных». И достигла — стала доктором филологии, ведущим научным сотрудником Института русского языка Академии наук.

На уроки Григория Львовича часто наведывались учителя, в том числе и из других школ, и он щедро делился своими методическими разработками. И вот директор предлагает ему открыть рабочий кабинет, где наш герой будет консультировать коллег уже на регулярной основе. Впрочем, Григорий всегда отказывался от любой мало-мальски значимой административной должности, потому, наверное, что стремился не наживать себе завистников и врагов. Вот и тогда категорически отказался от настойчивых предложений стать завучем или же директором школы. Он вообще считал, что евреи не должны начальствовать, и всегда цитировал своего любимого писателя Лиона Фейхтвангера: «Зачем еврею попугай?»

Что до еврейской культуры, то при всем своем желании постичь ее вполне Абрамович не мог. Ведь он не знал ни идиша («жаргона»), ни полузапрещенного тогда иврита («языка национальной буржуазии»). Да, он посетил несколько ярких спектаклей московских еврейских театров: ивритского «Габима» и идишского Государственного еврейского камерного театра под руководством великого Соломона Михоэлса (ГОСЕТ), но смог оценить по достоинству лишь ритм, пластику, жест, движение актеров с характерным гротеском, шаржем, иронией; он был впечатлен колоритными стилизованными декорациями таких мастеров, как Александр Тышлер, Роберт Фальк, Марк Шагал и др. А вот смысл слов ускользал, хотя такие переведенные на русский язык пьесы, как «Блуждающие звезды» Шолома Алейхема или «Уриель Акоста» Карла Гуцкова, он затвердил с наизусть. Другое дело — русскоязычная еврейская ветвь в современной литературе. «Повесть о рыжем Мотеле» Иосифа Уткина, произведения Исаака Бабеля он знал и ценил.

Главным же и первостепенным для него делом всегда оставалась русская классическая литература. То была его стихия, причем количество слушателей только прибавлялось. Он читает лекции и ведет семинары на литературном отделении Института Красной профессуры, о чем потом с благодарностью вспоминал его бывший студент, главный редактор Гослитиздата в 1940-е годы, зав. кафедрой теории литературы при Академии общественных наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ (Института мировой литературы им. Горького), профессор Александр Сергеевич Мясников. По его словам, «Абрамович не отличался навязчивой идеологичностью: он никогда не давал готовых формул в науке, а выводил их вместе со студентами». Мясников, ставший потом главным редактором Гослитиздата, всю жизнь оставался другом и почитателем Абрамовича. Он, между прочим, станет потом членом редколлегии девятитомного «Собрания сочинений» Ивана Бунина, а когда дочь Абрамовича

Анна впоследствии будет защищать диссертацию на тему «О поэтике бунинских очерков начала XX века», он станет ее оппонентом.

С 1933 года и до последних своих дней Григорий Львович работал сначала доцентом, а затем и профессором кафедры русской литературы Московского областного педагогического института (МОПИ) (одно время совмещал это с учительством в школе). Каждая его лекция была отмечена лиризмом и задушевностью и пользовалась неизменным успехом у слушателей.

Первая его собственно-литературоведческая работа называлась «Любовь в жизни М. Ю. Лермонтова» (1928). Свободная от идеологических схем и штампов, она раскрывала тайные и явные страницы биографии Лермонтова, рассказывала об обаятельных женщинах-музах, вдохновивших поэта на новые творения. Статья дышала молодостью, свежестью, а главное, давала ключ к личности самого Абрамовича, ищущего свой идеал в любви, а заодно и свою Прекрасную даму.

Между тем, бонзы коммунистического культпросвета задались целью создать руководство по освещению истории литературы с марксистских позиций (опираясь, прежде всего, на труды «образцового» историка Михаила Покровского, крупнейшего тогда деятеля Наркомата просвещения). При этом, как подчеркивал Луначарский, литературоведение в полной мере должно было ориентироваться на труды русских революционных демократов — Белинского, Добролюбова, Чернышевского, которые объявлялись «Лениными вчера». Потому возникла мысль об общегосударственном школьном учебнике по русской литературе, к созданию которого сразу же привлекли и педагога Абрамовича. Он принял участие в составлении пособий по литературе для Фабрично-заводских семилеток и Школ крестьянской молодежи, а затем сосредоточился на учебниках для старшеклассников средней общеобразовательной школы. Совместно с Фёдором Михайловичем Головенченко, тогда профессором МГПИ им. В. И. Ленина, им был написан учебник «Русская литература» для восьмого года обучения (с 1934 по 1939 гг. вышли в свет 7 изданий). Кроме того, Абрамовичем, а также литературным критиком и преподавателем московских школ и ФЗУ Бертой Яковлевной Брайниной и влиятельным партийным функционером, зав. учебной частью Института Красной профессуры и деканом филологического факультета МИФЛИ Александром Михайловичем Еголиным, в 1935 году был составлен и учебник для 9 класса средней школы (впоследствии переизданный четырежды). Конечно, учебники были строго подчинены руководящим требованиям Наркомпроса. Писатель рассматривался как рупор, при помощи которого определенный класс выражает свое мировоззрение и свои интересы. Иногда место писателя определялось другими «литературными силами», и грань между литературой и политикой практически стиралась: «В литературе первой четверти XIX века Жуковский занимает правое место в том ряду, на левом конце которого стоят поэты-декабристы, а в середине возвышается огромная фигура "идеолога либерального дворянства Пушкина"».

Автор и герой растворялись в своей эпохе, становились ее логическим следствием, полностью определялись современными им социально-экономическими (классовыми) отношениями — точно так же, как в «Русской истории» упомянутого Покровского все поступки российских императоров и чиновников вытекали из социально-экономических ситуаций. Художественный текст в этой системе неотделим от его создателя, поскольку также отражал специфику современных ему классовых отношений.

Примечательно, что на учебник русской литературы для 9 класса в 1934 году отзывался Максим Горький. Ценность его замечаний в том, что он требовал рассматривать жизнь писателя во всей ее сложности и противоречивости. И, говоря о Достоевском, в объяснение некоторых идей писателя, он пред-

ложил «прибавить узко-личный мотив»: месть за юношеское увлечение социализмом. Он также рекомендовал проследить в учебнике историческую преемственность литературных героев (такова, например, линия дворянских недорослей — Митрофанушки Фонвизина, гоголевского Подколесина, гончаровского Обломова и т. д.). «Поставленные в такие ряды типы, — заметил Горький с присущей ему прозорливостью, — показали бы школьникам и влияние эпох на организацию характеров, и силу изобразительности каждого автора, и преемственность идей, коими литература питалась».

Характерно, однако, что уже в 1936 году (в связи с переходом государственной идеологии с классовых позиций на имперские) началась широкая кампания по борьбе с концепцией Покровского. В четвертом издании учебника для 8–9 классов авторы пытаются избавиться от тлетворного влияния немарксистской, как оказалось, теории. Из текста вдруг исчезли слова «идеология», «идеологический». История литературы отныне иллюстрировала историю общественной мысли не напрямую, а опосредованно, при помощи литературного материала — картин жизни. Социологический подход окончательно уступил место биографическому. Произошла характерная метаморфоза. «Классовые позиции писателя», открывавшие в первом издании почти каждую главу, сменились нейтральными «Биография», «Жизнь и творчество», «Жизнь и деятельность». Основными функциями великого писателя стали обличение окружающей действительности и протест против эксплуатации рабочих и крестьян помещиками и капиталистами. Теперь автор выражал не идеологию своего класса, но лучшие идеи своего времени. Жизнь его стала отказом от душного старого и провидением светлого нового. Внутри этого каркаса — те или иные подробности, необходимые для того, чтобы отличить Толстого от Некрасова, Пушкина от Лермонтова.

По существу такой мудрый подход к литературному материалу преобладал и в последующих учебниках по русской литературе всего советского периода, вплоть до распада СССР. При всех своих спорных концептуальных подходах, учебники 1930-х годов трудно переоценить, ибо они привили любовь к литературе целому поколению советских людей. Интересно, что по учебнику Абрамовича и Головенченко учился и писатель Юрий Нагибин, который в одном из своих рассказов («Женя Румянцева») полушутливо сравнил этот учебник с Библией для аборигенов.

Между тем, «судьбы скрещенье» Григория с будущей супругой произошло как раз на его школьном уроке, куда она, по поручению Районного отдела народного образования, пришла с инспекцией и была буквально покорена вдохновенными горящими глазами, интеллектом, эрудицией этого замечательного учителя. И Абрамович, вопреки субординации, сразу увидел в чиновнице красавицу с пшеничной косой. И почему-то ему пришла на ум блоковская Прекрасная дама с ее очами «синими, бездонными», и вновь захотелось стихотворствовать. Эту даму звали Екатерина Михайловна (1905–1971) и была она уроженкой уездного города Мокшаны Пензенской губернии. Родилась в многодетной семье, где была младшим, тринадцатым ребенком. Сызмальства она была одержима страстью к знаниям, но поддержку в семье не нашла. У родителей были на ее счет свои планы: удачно выдать замуж и принести тем самым честь и прибыль семье. Потому, когда после окончания Мокшанской 1-й средней школы Екатерина устремилась на учебу в Петроград, отец, воспротивившийся ее отъезду, денег на дорогу ей не дал. Но в характере девушки было то, что некогда сбжавший из отчего дома в столицу Михаил Ломоносов назвал «упрямкой гордой»: уж если что решила, ни о чем не отступит!

И вот она уже студентка исторического факультета Петроградского педагогического института им. А. И. Герцена, без малейших средств к существованию: жила в общежитии, приходилось и котлы топить, и даже вагоны раз-



гружать. Училась отлично, а после окончания института были ликбезовские поездки, даже в самую отдаленную тьмутаракань, где за Екатериной ее ученики, пожилые, выдавшие виды люди, повторяли хором: «Мы не рабы. Рабы не мы. Не рабы мы». А затем она преподавала историю в средней школе, школе рабочей молодежи, ярко рисуя ученикам живые картины прошлого, iscенируя с ними художественные произведения. Накопленный опыт работы она изложила в составленных ею методических пособиях для учителей, которые были высоко оценены Институтом усовершенствования учителей, куда она вскоре была приглашена на работу. К тому же она была неутомимой общественной, отчаянной поборницей справедливости. Человек жесткий и сильный, она в то же время умела раствориться в людях, старалась помочь, чем могла. Когда же они встретились с Абрамовичем, Екатерина была замужем за вполне преуспевающим функционером (впоследствии он станет министром), но человеком ординарным и скучным. И она настолько увлекается Григорием, что переезжает из уютной квартиры в его подвальную комнатенку, где они поначалу ютятся вдвоем, с бабушкой. А когда та ушла в мир иной, на свет появились трое детей: Борис, Анна, Ирина. Впоследствии Борис станет ученым-физиком, Ирина — учительницей английского языка, а Анна пойдет по стопам отца, защитит потом диссертацию и будет преподавать в МОПИ.

Семья росла, и надо было озаботиться новым жильем. И в Екатерине вдруг открылся дар заправского квартирного маклера. Она меняла и выменяла свою подвальную «пещеру» на две комнаты в центре, в Казарменном переулке (сколько потом ей придется заниматься всякого рода обменами, чтобы жить в сносных условиях!). Благо, нашлась няня, которая стала палочкой-выручалочкой для молодой семьи, ее непереманным членом. Полуграмотная, из забытой Богом чувашской деревни, Зина (так ее звали) обладала природной мудростью и какой-то врожденной интеллигентностью (именно в том этическом нравственном значении, которое вкладывал в этот термин Боборыкин). Незамужняя и бездетная, она всем сердцем прикипела к трем хозяйским чадам. А проведая о гурманстве хозяина, которого уважительно звала «Григорович» или «Кормилец», баловала его разными вкусностями собственного производства. Григорий Львович шутил, что в Дантовой «Божественной комедии» он, как чревоугодник, будет помещен только в 3-м круге царства «Ада», что не столь уж сурово.

Так уж случилось, что в те тревожные времена жизнь Григория и Екатерины сложилась довольно счастливо. Оба были умны, энергичны, талантливы, самодостаточны, и эту «самость» друг в друге только поощряли; они стали единомышленниками, надежными и верными друзьями. Она директорствовала сначала в одной, затем в другой московской школе. А Абрамович, между тем, разрабатывал «Методические указания для заочников к программе по теории литературы для отделений литературы и языка учительских институтов» (М., 1937) и написал совместно с литературоведом Александром Николаевичем Соколовым, в будущем деканом филфака МГУ, «Конспект курса лекций по теории литературы» (М., 1938; в 1940 вышло 2-е переработанное изд.). Григорий занимается творчеством Пушкина и пишет в 1937 году к столетию со дня смерти поэта статью в академический сборник. В журнале «Литература в школе» (1938, № 1) публикует статью «О гуманизме Гоголя». А в 1941 году в научном сборнике МОПИ появляется его работа «Критические мотивы в творчестве Лермонтова».

Когда грянула Великая Отечественная, Григорий, несмотря на близорукость, сразу же пошел в ополчение и прошагал всю войну — от обороны Москвы до самых стен Рейхстага. Начинал войну лейтенантом, закончил майором, начальником штаба 160-го гвардейского стрелкового полка, 54-й гвардейской стрелковой дивизии, 61-й армии Белорусского фронта. Буду-

чи политруком, Абрамович выступал перед однополчанами с оперативными сводками о положении на фронтах. И буквально завораживал бойцов, когда с ораторским пылом рассказывал о славных традициях русской армии и, конечно, о победоносной Отечественной войне 1812 года. При этом, как и подобает словеснику, подкреплял рассказ яркими литературными примерами, прежде всего, вспоминая капитана Тушина из романа Льва Толстого «Война и мир». Фашисты сбрасывали на позиции советских войск агитационные листовки, и Григорий с удивлением увидел свою фамилию: солдат призывали сдаваться и переходить на сторону немцев, напоследок всадив штык в пузо трусливого комиссара Абрамовича или Рабиновича: «У жида-политрука морда просит кулака». Но Абрамович никак не был, как презрительно обзывали штабных, тыловой крысой. И в партию Григорий вступил отнюдь не из карьеристских соображений, но перед атакой, откуда возвращались только везунчики. Ему повезло вдвойне, поскольку он не только вернулся, но и был отмечен командованием. Из всех воинских наград он особенно дорожил первой, медалью «За боевые заслуги», хотя был удостоен орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны, а также медалями за взятие Варшавы и Берлина. Фронтная дружба связала его с молодым майором, Александром Зиновьевичем Крейном. Крейн станет впоследствии создателем и директором Государственного музея А. С. Пушкина в Москве. Сохранилась фотография (она и сейчас висит в этом Музее), где они 8 мая 1945 года стоят в Берлине около Бранденбургских ворот.

А вот что вспоминает об Абрамовиче его однополчанин, капитан Иван Побединский: «Я таких друзей-товарищей на фронте обрел!.. На всю жизнь. По службе я подчинялся Григорию Львовичу Абрамовичу. Он был старше в звании и возрастом. Уроженец Ельца, почти земляк. Тогда я не знал, что воюем вместе с известным ученым, что по его учебникам студенты в институтах будут учиться. Обрушит на тебя несправедливый гнев начальство, Львович улыбнется, скажет: "Не переживай, Иван Иванович. Когда-нибудь будем подчиняться не погону, а уму!" — И на душе полегчает». А вот выдержка из его письма Абрамовичу: «Милый друг и родной брат, ты не можешь себе представить, как я чертовски соскучился по тебе. Почти четыре года одной ложкой, из одной миски черпали редкое счастье и частое горе. Я уважал и уважаю тебя как человека, товарища и командира. Пишу искренне — обязан своей жизнью тебе». После войны Побединский стал сельским учителем словесности и получал от боевого товарища толковые и орфографические словари.

В августе 1945 года Григорий возвратился в Москву. Случилось так, что он ехал в штатском в военкомат оформлять бумаги об увольнении из армии, и в трамвае к нему пристал мужик в сильном подпитии: «Ну что, жид, наши немцев победили, а ты, небось, в Ташкенте отсиживался или в тылу ошивался, спиногрыз!» Вспомнился ли ему тогда дореволюционный антисемитизм? Или понял тогда Абрамович, что то была примета нового времени и что после разгрома нацизма вирус великодержавного шовинизма и антисемитизма поразит и народ-победитель?

А дома его ждала семья, вернувшаяся к тому времени из эвакуации в Пензенской области, где Екатерина Михайловна всю войну заведовала детским домом. В качестве скромного трофея отставной майор привез две немецкие пишущие машинки, которые благодаря доморощенным московским умельцам сразу же были переделаны на русский шрифт. Он целиком уходит в работу, проворно отстукивая одним пальцем статьи для Ученых записок МОПИ, академических сборников «Вопросы теории литературы».

Его интересуют проблемы творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, вопросы теории литературы. Он обладал невероятным трудолюбием и обыкновенно трудился за огромным дубовым столом, причем настолько по-

гружался в дело, что не реагировал на окружающее, даже на шумные игры детей. Из-под его пера вышло много научных статей. Но главный его конек — чтение лекций. После войны он продолжал работать в МОПИ, а одновременно его пригласили преподавать и в МГПИ им. Ленина. Студент-вечерник 1948 года, поэт Илья Лапиров, живший в США, вспоминал, как они ловили каждое слово Абрамовича, а конспекты его лекций стали для них ориентиром на всю жизнь.

Все же основной для него была его работа на кафедре русской литературы МОПИ, где подобрался достойный коллектив единомышленников. Кафедра славилась тандемом двух ярких и совершенно не похожих друг на друга блестящих лекторов — лиричного и задушевного Абрамовича и едкого Ульриха Рихардовича Фохта, причем у каждого таланта были свои поклонники и почитатели. В жизни же они были близкими друзьями и, как противоположности, лънули друг к другу.

По словам коллег, Фохт был яркой личностью в науке, его волновал сам процесс рождения мысли, борьба и столкновение мнений — в любых формах, будь то книга, статья, рецензия, выступление на конференции, научном заседании, студенческом семинаре, обсуждение чьей-либо работы или просто частная беседа. В нем была восприимчивость ко всему новому, зарождающемуся.

При этом он был неисправимым женолюбом, ценителем всего прекрасного, женат был (только официально!) семь раз, и в каждую новую свою избранницу был влюблен без памяти. За неукротимое жизнелюбие друзья прозвали его Фаустом. Вместе с тем, это был генератор идей, его ценили как животворное бродильное начало. Теоретик до мозга костей, он и лекции по русской литературе читал с теоретическим уклоном, стремясь объяснить обилие фактов общими закономерностями общественного и художественного развития. Что касается Абрамовича, то он тоже отличался системностью мышления, непременно апеллировал «чувствам добрым», и, если перефразировать слова Виссариона Белинского, был влюблен в поэтическую идею, как в прекрасное живое существо, созерцал ее во всей полноте, потому идея являлась в его лекциях не отвлеченной мыслью, не мертвой формой, но живым созданием. Поэтому и оценивали их по-разному, но с неизменным обожанием.

Что до Фохта, то он отличался независимостью и «свободозычием» и не стеснял себя в выражениях, выступая подчас и остроумным мастером каламбуров. Говорили, что именно ему принадлежит шутовская модель композиции диссертации: «Водная часть», «Обзор литературы», «Интертрепация фактов», «Выгоды». Ученик Валерьяна Переверзева («переверзавец», как он себя называл), Фохт в молодые годы отдал дань вульгарному социологизму, но особая системность мышления осталась у него навсегда. И он остро переживал, что ни он, ни другие ученики не выступили в защиту Переверзева, когда того начали сильно клеветать марксистские заправилы типа Владимира Ермилова. И когда в 1938 году Переверзев оказался в ГУЛАГе, все малодушно смолчали. В военные годы Фохт сам дважды подвергался аресту. В первый раз, когда он вместе с МОПИ отправился в эвакуацию в Магнитогорск, где был схвачен бдительными органами как этнический немец. Дело пахло то ли сибирской, то ли казахстанской ссылкой, а то и ГУЛАГом, так что спасти несчастного могло только вмешательство ЦК партии. И ему повезло. Кому-то из его друзей удалось дозвониться до его стародавнего коллеги по Московскому институту философии, литературе и истории Александра Еголина, ставшего тогда заместителем отдела агитации и пропаганды ЦК. Тот добился резолюции Сталина «разобраться», и Фохт был выпущен на свободу. По возвращении в Москву, он снова был арестован и снова спасен Еголиным.

Григорий Львович славился своей доброжелательностью, был вежлив и внимателен к людям. Но это вовсе не было молчалинским стремлением «угождать всем людям без изъятия» ради каких-то личных выгод. Он старал-

ся видеть в человеке только хорошее и был приветлив со всеми. Находились коллеги, ехидничавшие на его счет: «Что это Григорий Львович расшаркивается перед каждой штафиркой?!», не понимая, что деятельное человеколюбие есть его, Абрамовича, состояние души. Тогда как Фохт своим холодным умом «поверял алгеброй гармонию» и часто относился к людям настороженно, откровенно презирал невежд и бездарей. Таковы были эти двое. При этом оба они заражали аудиторию мощной интеллектуальной энергией. Только вот Абрамовича студенты нарекли Братцем Кроликом (возможно, и из-за присущих ему кротости и доброты), а плотоядный Фохт получил прозвание — Братец Лис, стремившийся из этого Кролика «суп сварить». Но как ни тщился Лис заманить Кролика в ловушку, в той баталии именно он одержал победу — и был таков.

А между тем в стране разворачивалась откровенно антисемитская кампания. Вслед за расстрелом Еврейского Антифашистского комитета активизировалась борьба с так называемыми «безродными космополитами» и «низкопоклонниками перед Западом», и, казалось, кара вот-вот обрушится на всех евреев-гуманитариев. По иронии судьбы, одним из главных застрельщиков-обличителей — «врагов советского патриотизма» стал соавтор Абрамовича по учебнику для школ Фёдор Головенченко, к тому времени зам. зав. отделом агитации и пропаганды ЦК. В марте 1949 года он выступил с докладом «О борьбе с буржуазным космополитизмом в идеологии» в Высшей партийной школе при ЦК, в Военно-политической академии им. В. И. Ленина, Академии общественных наук, в других ведущих идеологических учреждениях страны. Он стал проводить в жизнь партийную линию так прямолинейно и истоково, что получил «окорот» от самого «отца народов». «Вот мы говорим "космополитизм," — разоткровенничался он однажды на заседании редакторов газет. — А что это такое, если сказать по-простому, по-рабочему? Это значит, что всякие мойши и абрамы хотят занять наши места». И под бурные аплодисменты зала громогласно объявил: «Сегодня утром арестован враг народа, космополит № 1 Илья Эренбург». Однако Головенченко лишь выдал желаемое за действительное: кто-то из газетчиков позвонил на квартиру Эренбурга и... застал его дома. Эренбург именно тогда попал в фавор и только что стал лауреатом Сталинской премии. А незадачливого борца с «мойшами и абрамами» вынесли из собственного кабинета на Старой площади с инфарктом. Тогда-то Москву облетела приметная фраза Льва Кассиля: «И у них бывают инфаркты». Разжалованный Головенченко получил кафедру русской литературы в МГПИ им. В. И. Ленина, где продолжал бороться за чистоту рядов уже в главном советском педвузе.

Но с отставкой одиозного Головенченко борьба с космополитами в литературе и искусстве отнюдь не прекратилась: напротив, она только набирала новые обороты. Обвинение в космополитизме сопровождалось судами чести, лишением работы, а часто арестом и ссылкой. По данным Ильи Эренбурга, до 1953 года был арестован 431 еврей — представитель литературы и искусства: 217 писателей, 108 актеров, 87 художников, 19 музыкантов. Что до именитых филологов, то «низкопоклонниками» были заклеены Борис Эйхенбаум, Виктор Жирмунский, Марк Азадовский, Григорий Бялый, Григорий Гуковский (последний умер в лагере). Одним из активных проводников этой авангардной линии партии был ректор МОПИ Фёдор Харитонович Власов (1905–1975), который усердно боролся за присвоение институту имени Лаврентия Бериин. По словам литературоведа Бориса Егорова, Власов заслужил репутацию «известного погромщика». Это на его счету изгнание из института видного литературоведа, профессора кафедры зарубежной литературы Марка Давидовича Эйхенгольца (он умрет в ГУЛАГе), автора фундаментальных работ по творчеству Эмиля Золя, научного редактора и комментатора собраний

сочинений Золя и Гюстава Флобера. Рассказывали, что в свою бытность ректором Власов и его приспешники на одном из так называемых «судов чести» предъявили абсурдное обвинение одному еврею-историку, автору монографии о Якове Свердлове, что он, дескать, сознательно (!) уклонился от написания монографии об Иосифе Сталине.

А ранней весной 1953 года, в это урожайное для репрессий время, Власов и его присные решили расправиться с любимцами студентов — «нерусским» Фохтом, позволявшим себе произносить весьма рискованные для того времени сентенции, и попавшим под раздачу «космополитом по национальности» Абрамовичем. Искали только повод. А тут на кафедре русской литературы, где работали Фохт и Абрамович, как раз намечалась защита диссертации «Некоторые особенности реализма Пушкина и Гоголя на материале "Евгения Онегина" и "Мертвых душ"». Чем не мишень для бдительных патриотов?! И хотя диссертантом был русский молодой сапер-фронтовик, орденосец, сталинский стипендиат Виктор Иванович Глухов, «власовцы» вознамерились отыскать в его работе преклонение перед Западом. В результате защиту, где оппонентом выступал Фохт, превратили в двухдневный шаш, в разгром и провал диссертанта, да еще и в идеологический мордобой Фохта и всей кафедры. Когда же Ульрих Рихардович наотрез отказался каяться и признавать несуществующие грехи диссертации, он был изгнан из института. С требованием осудить «политически порочную» работу Глухова обратился Власов и к Абрамовичу, а когда услышал решительное «нет», пригрозил: «Смотри, Григорий Львович, в большую беду попадешь!», на что тот ответил словами Алёши Карамазова: «Что же, значит планида моя такая».

Можно себе представить, что творилось тогда в семье Абрамовича! Хотя Григорий Львович старался не посвящать домочадцев в подробности институтских дел, настроение было такое, что Екатерине впору было собирать чемодан с теплыми вещами и сухарями, ведь впереди маячил ГУЛАГ. Впрочем, свой жребий он решил принять безропотно, нимало не рассчитывая на снисхождение. Только ходил по комнате большими шагами, обреченно повторяя есенинское: «Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час». Но рядом с ним была сильная и бескомпромиссная Екатерина Михайловна. Втайне от мужа (знала, что тот бы категорически запретил!) она ранним утром набрала номер домашнего телефона Власова. Тот, видно, спросонья, что-то вяло пробурчал в трубку и услышал резкое: «Что Вы себе позволяете, Фёдор Харитонович? Прекратите погром на кафедре! Если не оставите в покое Григория, я в ЦК пойду, выведу Вас на чистую воду!» Ошарашенный Власов пытался вставить хоть слово, но только беспомощно повторял: «Екатерина Михайловна, успокойтесь! Григорию Львовичу ничто не угрожает».

А вскоре Министерство просвещения устроило проверку МОПИ, и тут свершилось нечто ошеломляющее. Как и его единомышленник Головенченко, Власов был освобожден от ректорства и «понижен» в должности — до зав. кафедрой советской литературы института. А Абрамович и восстановленный на работе Фохт продолжали радовать студентов МОПИ, получившего в 1957 году имя Надежды Крупской. Забегая вперед, скажем, что Власов позже будет выказывать Абрамовичу дружелюбие и восхвалять его за честность и принципиальность. В 1970-е, на юбилейном институтском вечере он, вспоминая прошлые времена, признает: «Григорий Львович никогда не петлял, как заяц», а в ответ услышал чью-то едкую реплику: «Не тебе чета». Что до Виктора Глухова, то в 1954 году он благополучно защитил кандидатскую диссертацию, а впоследствии (в 1991 году) стал и доктором филологии, ведущим специалистом по русской литературе XVIII — начала XIX века, зав. кафедрой литературы Волгоградского педагогического института.

Впрочем, далеко не все в жизни Абрамовича было так безоблачно: написанную им докторскую диссертацию «Проблемы специфики литературы и литературного развития» он в 1952 году послал на экспертизу влиятельному Александру Ревякину, профессору, зав. кафедрой русской литературы МГПИ им. В. И. Ленина и главному редактору журнала «Литература в школе». Диссертация как в воду канула. Сколько ни справлялся о ней Абрамович, вразумительного ответа не получал, а однажды Ревякин так прямо и сказал: мол, не время Вам сейчас претендовать на докторскую степень. Отсюда следовало, что не в диссертации вовсе дело (и совсем не важно, читал ли ее Ревякин), а в нем, Абрамовиче. Чиновник от литературы прекрасно знал, откуда дуют партийные ветры, и, перестраховавшись, решил попридержаться «труднопроходимого» соискателя. Диссертация протомилась у Ревякина семь долгих лет!

1953 год был знаменательным в жизни Абрамовича: вышла из печати главная книга его жизни: учебник «Введение в литературоведение», предназначенный для студентов-филологов СССР. Тем самым было положено начало новому вузовскому курсу, дан научный подход к анализу и оценке литературных произведений, сформулированы законы историко-литературного развития. Не случайно академик АПН Леонид Тимофеев, с которым у Григория Львовича завязались длительные творческие связи и дружеские отношения, заметил: «Абрамович — это система».

Книга состояла из трех разделов: общего учения о литературе, учения о литературном произведении и о литературном процессе. В первом разделе были затронуты такие проблемы, как содержание и форма художественной литературы, проблема народности и общечеловечности литературных произведений, вопрос о типичности и о «познавательном-воспитательном» значении художественной литературы. Во второй раздел вошли главы, посвященные теме, композиции, сюжету и языку, стиховедению. В последнем трактовался вопрос о литературном произведении, о художественных методах и содержались сведения об основных направлениях в истории мировой литературы. Там же шла речь и о поэтических видах и жанрах. При этом акцент делался на историческом рассмотрении литературы. Характер историзма, обязательный в теории литературы, определялся взаимодействием исторически конкретного и общего. В то же время, подчеркивалось в учебнике, сами теоретико-литературные определения имели различный содержательный объем.

Как же был встречен учебник Абрамовича? Увы! В популярнейшей «Комсомольской правде» от 29 октября 1953 года появилась рецензия некоего Вадима Назаренко с хлестким названием «В дебрях схоластики», где учебник Абрамовича подвергся самому огульному и безоговорочному шельмованию. Забавно то, что Назаренко, оценивая книгу по литературоведению, филологическим образованием отягощен не был (он закончил художественно-промышленное училище) и только начинал тогда печататься как литературный критик. Недостаток знаний он компенсировал апломбом, откровенной руганью, журналистским лихачеством. Однако и он, и опубликовавший его разгромный отзыв на книгу редактор «Комсомолки» Дмитрий Горюнов (руководил газетой с 1950 года), по-видимому, не сомневались, что нанесли автору нокаутирующий удар. Но просчитались! А все потому, что на дворе уже вступила в свои права оттепель и, вопреки ожиданиям сталинистов, обструкция учебника печальных последствий для Абрамовича не возымела. В «Литературной газете» от 15 декабря 1953 года литературовед Тамара Мотылёва прямо указала: «Попытка, сделанная В. Назаренко начисто уничтожить эту книгу на основе нескольких, выхваченных из контекста малоудачных формулировок, совершенно несостоятельна... Рецензент не затронул ни одного теоретического вопроса, отделившись лишь поверхностными придириками». В целом доброжелательными были отзывы об учебнике в журналах «Звезда» (1954, № 1),

«Литература в школе» (1954, № 3), а также в широкой писательской среде («Разговор перед съездом», М., 1954). Более того, «Введение в литературоведение» было вскоре переведено на иностранные языки. На болгарском языке в переводе Димитра Добрева вышло даже два издания: в 1954 и 1956 годах. В Монголии учебник в середине 1950-х годов печатался главами из номера в номер в главном органе монгольского Союза писателей, журнале «Цог» («Огонек»), в переводе литератора М. Гаадамбы. Интересно, что переводчик венгерского издания учебника (1955) Иштван Косарас уже в конце 80-х годов рассказывал, что это благодаря переводу учебника Абрамовича, он создал венгерское литературоведение, купил себе фешенебельный дом на Балатоне. И очень сокрушался, когда узнал, что у этого советского автора не было даже личного автомобиля. В 1956 году вышло 2-е издание учебника, исправленное и дополненное, и на одном из заседаний сектора теории литературы и эстетики Института мировой литературы им. А. М. Горького состоялось его обсуждение, в котором приняли участие ведущие литературоведы Александр Соколов, Марк Поляков, Владимир Борщук, Юрий Боров и др. И книга была признана наиболее удачным современным пособием по сему предмету. Тем временем в ИМЛИ замышлялась первая в советском литературоведении попытка дать историческое освещение основных категорий теории литературы. Немалую роль в создании будущего труда сыграл Яков Ефимович Эльсберг, тогда зав. отделом теории литературы, автор монографий «Вопросы теории сатиры» (1957), «О беспорном и спорном. Новаторство социалистического реализма и классическое наследство» (1959), «Основные этапы русского реализма» (1961), «Черты литературы послевоенных лет» (1961) и др. Однако этот вполне солидный литературовед снискал самую мрачную репутацию и получил прозвище «советский Азеф». Потому после разоблачения культа кресло под ним зашаталось, его сразу же вывели из редколлегии журнала «Вопросы литературы». А вернувшиеся потом из лагерей ученые потребовали публично осудить сексота. Заявления от них весной 1960 года поступили в московскую организацию Союза писателей и генеральному прокурору СССР. Однако прокуратура отделалась отпиской, а столичное литературное начальство поначалу вроде бы выступило за исключение Эльсберга, но в июне 1963 года секретариат Союза писателей России это решение отменил, так что Эльсберг отделался легким испугом. Впрочем, он все же стал весьма боязлив и, по воспоминаниям современников, страшился ездить по городу, вероятно, опасаясь возможного нападения на него пострадавших людей. Известно, что в период реабилитаций он получил немало пощечин.

И тем не менее именно Эльсбергу принадлежала идея создания многотомной монографии «Теория литературы». При этом он понимал, что в одиночку труд этот не осилить. Нужны были люди. Он сделал ставку именно на молодежь — группу вчерашних выпускников МГУ: Сергея Бочарова, Георгия Гачева, Вадима Кожина, Петра Палиевского, Виталия Сквозникова и др., людей талантливых и ищущих. Интересно, что против инициативы по созданию «Теории литературы» выступили некоторые литературоведы, хотя на самом деле они воевали, прежде всего, против Эльсберга.

Проект находился под угрозой полного срыва, но в дело вмешался другой одиозный и некогда всесильный, «свирепый литературный экзекутор» Владимир Ермилов, известный в свое время травлей Маяковского и Платонова. Ермилов, как и Эльсберг, понял, что поддержка атакуемых «прогрессивными силами» юных талантов сулит им моральные дивиденды, а главное — сохранение своего положения во властной системе. Надо заметить, что Ермилов по той же причине поддержал своего зятя Вадима Кожина, когда тот попытался заново открыть для русской культуры старательно забытого великого философа, культуролога и литературоведа Михаила Михайловича Бахтина

(1895–1975), доцента Мордовского государственного пединститута. Вот как отозвался о литературной обстановке тех лет современник: «Ермилов потрянул стариной, демонстрируя, что значит бить, именно бить наповал в полемике, вроде бокса без перчаток, как в оны годы бывало, чего, понятно, нынешние мастера закулисной склоки уже просто не умели». Поговаривали, что Ермилова поддержал тогда зав. Отделом литературы и искусства ЦК КПСС Дмитрий Поликарпов (по инициативе которого, между прочим, в 1958 году была начата травля Пастернака). Таким образом, книга «Теория литературы» была спасена, причем Ермилов вошел в ее редколлегию.

Однако не могло быть и речи о том, чтобы человек с такой репутацией, как Эльсберг, возглавил работу над этим авторитетным трудом. Требовался теоретик литературы, не замаранный во время оно, к тому же устраивавший как «прогрессистов», так ни «реакционеров». Неудивительно, что выбор пал на автора «Введения в литературоведение» Григория Абрамовича, который в 1957 году и был приглашен в ИМЛИ. Ему было поручено возглавить группу по подготовке фундаментального труда. Согласие на претившую ему начальственную должность Абрамович дал не без колебаний, но перспектива такой масштабной работы увлекла его, и он перешел в ИМЛИ, хотя не прервал чтения лекций в МОПИ.

Понятно, что чуждый интриг и сплетен Григорий Львович, как человек науки, едва ли интересовался подковерной борьбой вокруг еще не состоявшейся «Теории литературы». И Эльсберг был с ним весьма мил, рассказывал «дней минувших анекдоты» и зазывал в гости: благо, жил в самом центре Москвы, в проезде Художественного театра и, будучи заправским библиофилом, особенно нахваливал свою библиотеку. Абрамович видел, что оказавшийся в его подчинении коллектив «младотеоретиков» относился к Якову Ефимовичу с большой симпатией, как будто и не было у него никаких прегрешений в прошлом. Более того, именно Эльсберга творческая молодежь считала реальным двигателем «Теории», а вот его, Абрамовича, сначала восприняла настороженно, как навязанного сверху надсмотрщика для обуздания возможной крамолы. В такой ситуации доказать группе свою состоятельность как ученого и руководителя проекта Григорию Львовичу было непросто. Впрочем, благодаря своей широкой эрудиции, страстной любви к литературе, доброжелательности она все же завоевал сердца молодых.

Начал он с того, что опубликовал в стенгазете института программу предстоящего труда, вызвавшую живую полемику в среде филологов; а затем в обстоятельной статье «Историзм в теории литературы» («Вопросы литературы», 1959, № 3) наметил развернутый план работы над проектом. С одной стороны, он выступил против тех, кто отрицал важность «типологических обобщений»; с другой — против отрицания исторического принципа изложения проблем литературной теории. По Абрамовичу, единственно плодотворным способом рассмотрения материала в теоретико-литературных исследованиях должен был стать историко-логический метод. Этому, кстати, была посвящена и докторская диссертация, наконец-то защищенная в ИМЛИ в 1959 году. Исторический принцип был направлен своим острием против недопустимости умозрительных схем, против всяческих релятивистских подходов.

Обращает на себя внимание написанная Абрамовичем концептуальная глава «Предмет и назначение искусства и литературы» в Кн. 1 «Теории литературы»: «Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер» (Ранее, в 1961 году, она вышла и отдельной брошюрой «По законам красоты (Предмет и назначение литературы)». М., 1961). Речь идет здесь о том, как на разных стадиях развития менялось представление о самом предмете литературы, о взаимоотношении искусства и действительности. От космогоний и теогоний древнего мира прослеживался путь к классической литературе



нового времени с ее человеческим пафосом. Он-то и станет доминирующим в искусстве последующих эпох. Особенно показательна судьба русской классической литературы, менее чем за столетие прошедшей те пути развития, которые западноевропейские страны прошли за несколько веков. Русская литература проникла в такие глубины внутреннего мира человека, что своей «всемирной восприимчивостью» поднялась на величайшие вершины мирового искусства. В непрерывном развитии и росте его внутреннего содержания выступает главный предмет литературы — человек и человеческая жизнь. Двигается история, и с каждой новой эпохой мы видим новых людей, с новыми деяниями, мыслями, чувствами. Так важнейшие этапы развития человечества отражаются во внутренних изменениях самого предмета литературы.

Трехтомная «Теория литературы» (Кн. 1–3. М., 1962–1965) стала явлением не только в советской, но и в мировой науке и культуре. Авторам удалось охарактеризовать особенности художественной литературы и выявить закономерности ее развития, опираясь на исторически-конкретное исследование литературного материала. Не претендуя на полноту охвата и изложения вопросов теории, они решали исследовательские задачи, а потому работу должно рассматривать, прежде всего, как *первоначальный поиск* в области создания теории литературы на исторической основе. Этот вдохновенный многолетний труд носил экспериментальный, новаторский характер, причем общность исходных положений отнюдь не исключала различных точек зрения по отдельным вопросам и различных соотношений между теоретическим и историческим. Первая книга содержала интереснейшие главы: «Художественный образ и действительность» (Вадим Кожин), «Внутренняя структура образа» (Пётр Палиевский), «Образ и художественная правда» (Николай Гей), «Творческий метод и образ» (Виталий Сквозников), «Развитие образного мышления в литературе» (Георгий Гачев), «Характеры и обстоятельства» (Сергей Бочаров) и др. Кн. 2 была посвящена «Родам и жанрам литературы» (главы написаны Яковом Эльсбергом, Георгием Гачевым, Вадимом Кожинным, Елеазаром Мелетинским, Виталием Сквозниковым, Марией Кургиян, Юрием Боровым). Кн. 3 «Стиль. Произведение. Литературное развитие» представлена, помимо названных авторов, яркими работами Натальи Драгомирецкой, Людмилы Киселёвой, Михаила Гиршмана и др. Как точно сказал писатель Дмитрий Бак, перед читателем предстало здесь не литературоведение, а *литературовидение*, не столько схемы и измы, сколько усмотрение движущих смыслов.

Сложность состояла в том, что историческое понимание предмета теории литературы могло иметь различные методологические предпосылки. Абрамович проводил в жизнь историко-материалистическое понимание, что вызывало у некоторых молодых учеников Бахтина неприятие. Потому, высоко ценя Григория Львовича за его ум, талант и человеческие качества, «младотеоретики» не желали подчиняться его, как им казалось, консерватизму и ретроградству в науке. Что до Абрамовича, то, отдавая дань талантам молодых, он всячески пытался примирить их «фрондерство» с господствующими марксистскими постулатами. Но при этом старался сделать это ненавязчиво и тонко, чтобы голос исследователя был услышан и общая концепция не пострадала. Впрочем, и его отношение к Бахтину было весьма уважительным (он, кстати, принял его теорию «полифонического романа» Достоевского еще в 1930-е годы и с благоговением хранил две книги, подаренные ученым (с надписью «Григорию Львовичу... с глубоким уважением и самыми сердечными чувствами»), а впоследствии ссылался на них в своих научных трудах. С другой стороны, институтское начальство настойчиво требовало от него как руководителя группы быть построже с «вольнодумцами» и постоянно пеняло ему за либерализм. Так что Абрамович, с его повышенным чувством ответственности, оказался меж двух огней. Потому в 1965 году, когда работа над

«Теорией литературы» была завершена, Абрамович ушел из ИМЛИ с твердым намерением никогда более не начальствовать.

Сделать это ученому такого уровня, как он, было очень непросто. В МОПИ, куда он вернулся, декан факультета грозился, что обяжет Абрамовича как коммуниста взять на себя руководство кафедрой русской литературы, однако получил такой категорический отказ, что вынужден был отступить. Другое дело — вдохновенное чтение лекций, научное руководство аспирантами и докторантами. Сколько их за 45 лет его работы в педвузе получили ученые степени! Какого-нибудь неискущенного провинциала он радушно принимал дома, долгими часами просиживал с ним над рукописью, вникая в самую суть предмета. «Ты за свою жизнь написал, наверное, не меньше сотни диссертаций!» — шутила жена Екатерина Михайловна. И едва ли это сильное преувеличение: Абрамович мог пробудить научную мысль, дать направление исследованию, сформулировать неоспоримые выводы. Впрочем, он поддерживал и уже сложившихся ученых. К примеру, он был научным руководителем в будущем известного филолога Семёна Теодоровича Ваймана, тогда автора монографий «Данте и проблема зарождения реализма» (1961), «Реализм как эстетический антипод религии: Этюды о поэтике Боккаччио» (1966). Докторская диссертация Ваймана «Проблема теории реалистического метода, его формирования и современного развития» (1970) была написана под концептуальным «приглядом» Абрамовича. Или другой колоритный персонаж: здравствующая и ныне Маргарита Осиповна Мазель, которую Григорий Львович приобщил когда-то к творчеству Достоевского; под его руководством она написала несколько статей, в частности, о художественных особенностях рассказа «Кроткая». В наши дни она выступает перед широкой православной аудиторией с циклом видео-лекций о том, что «общение с миром Достоевского, с его героями — это настоящий пир души. Ткань душевная в тебе утончается, и совершенно нет чувства одиночества».

Что до непосредственных научных интересов, то Григорий Львович сосредотачивается на исследованиях в области русской классической литературы XIX века. Рассматривая взгляды и произведения писателя в широком историко-культурном контексте, Абрамович в своих панорамных работах всегда нов и концептуален. Так, в статье «Трагедийная тема в творчестве Лермонтова» (1964) он говорит о постижении связи между индивидуализмом и преступлением — от Лермонтова к Толстому, Достоевскому и Блоку. При этом исследователь проникал в психологию творчества поэта, обращая внимание на сравнение Демона с «отрывком тучи громовой», чернеющей в лазурной вышине. Оказывается, еще в детские годы воображение Лермонтова поразил этот образ чернеющего облака, которое ассоциировалось у него с духовной бездомностью как одним из решающих в его поэзии условий трагического. С этим образом сопрягались несчастные, обойденные дружбой или любовью «чудаки», «радужные мечтатели», перерождающиеся в индивидуалистов и становящиеся «страдающими эгоистами». Тонкие наблюдения над художественным миром Гоголя находим в его статьях о «Старосветских помещиках» (1956), о жанровой природе ранней идиллии «Ганц Кюхельгартен» (1968), об идее повести-сказки «Вий» (1971). Особенно интересна последняя работа Абрамовича, где философ Хома Брут рассматривается в ряду таких литературных героев, как Вальсингам в «Пире во время чумы» Пушкина, Кирибеевич в «Песне про купца Калашникова» Лермонтова, Андрий в «Тарасе Бульбе» Гоголя. А трагедия и гибель Хомы тракуются как судьба человека, выходящего за «круг» народного целого.

Непрерывный интерес к Достоевскому очевиден и в основополагающей работе Абрамовича «О природе и характере реализма Достоевского» (1959). Проследив связь мировоззрения и творчества писателя, он отметил, что та-

кой большой художник, как Достоевский, создавал свои творения не вопреки своему мировоззрению, как было принято считать, а в результате борьбы реакционных и прогрессивных начал, и что эти прогрессивные стороны оказывались весьма существенными. Примечательно, что Абрамович подготовил к печати и взял на себя научное редактирование докторской диссертации талантливого ученого, профессора МОПИ Николая Максимовича Чиркова. Этот ученый широкого исследовательского диапазона помимо Достоевского, сосредоточился на творчестве Романа Роллана, Августа Стринберга и др. Созданные им на основе диссертации книги «О стиле Достоевского» (1964) и более полное издание — «О стиле Достоевского: Проблематика, идеи, образы» (1967) стали новым словом отечественного достоевсковедения. «Чирков был любимейшим из любимых, — вспоминали о его лекциях студенты. — Все его лекции заканчивались громом аплодисментов».

Отзывался Абрамович и на художественные произведения о Достоевском. Известна его рецензия на роман Николая Арденса «Ссылный № 33» (1967), опубликованная в Ученых записках МГПИ. Здесь важно то, что он пытался всячески подчеркнуть значение Достоевского для советской культуры, подкрепив его непререкаемым в то время ленинским авторитетом (статья «Ленин о Достоевском», опубликованная уже после смерти Абрамовича, в 1984 году).

Говорят, что человек должен оставить на земле «чекан души своей». Таковым был для Григория учебник «Введение в литературоведение», куда он приносил результаты все новых и новых научных изысканий. Каждое издание выходило под грифом «исправленное и дополненное», и то была напряженная работа не только ума, но и души. Последнее, 7-е издание вышло в свет в 1979 году и не устарело и в наши дни. Его продолжают рекомендовать студентам-гуманитариям как необходимое пособие по теории литературы.

При этом Григорий Львович никогда не пытался слыть всезнайкой и судить о предметах, ему неизвестных, ссылаясь на Козьму Прутков: «Если ты не знаешь языка ирокезского, то знай, что всякое твое суждение о нем будет глупо». И мнением его дорожили, зная о его непредвзятости и беспристрастии. Достаточно сказать, что в течение двух сроков — 8 лет — он входил в состав Высшей аттестационной комиссии при Минвузе (на сей счет шутили, что Абрамович — «дежурный еврей» в ВАКе), был постоянным членом ученых комиссий при Министерствах просвещения СССР и РСФСР, редактором программ по «Введению в литературоведение», членом экспертных советов по истории и теории литературы МГУ и МОПИ. Кроме того, свыше четверти века он был бессменным руководителем преподавательского методологического семинара по эстетике в МОПИ.

Странным образом переплелась административная жизнь Абрамовича с жизнью Василия Фёдоровича Ноздрева, ученого-физика и плодовитого поэта-лирика в одном лице. С 1943 года Ноздрев, доцент и кандидат наук, стал секретарем парткома МГУ. Тому немало способствовала его героическая биография участника и инвалида войны. К тому же он издал несколько поэтических сборников и к филологам питал особый пиетет. Крепкий хозяйственник, он создал и оснастил фундаментальную физическую лабораторию. Но особенно стал знаменит тем, что, будучи креатурой секретаря ЦК КПСС Александра Шербакова, стяжал славу борца с еврейским засильем в науке. Он известил своего патрона о том, что большинство ведущих ученых МГУ составляют евреи, которые, якобы нипочем не берут к себе на обучение в аспирантуру русскую молодежь. «Надо сказать, что тяга еврейской молодежи в аспирантуру и в университет очень большая, — сигнализировал Ноздрев Щербакову, — и если в этом отношении не встать на путь регулирования, то уже не более как через год мы вынуждены будем не называть университет "русским", ибо это будет звучать в устах народа комично». В течение 1944–1945 гг. этим рев-

нителем «русскости» удалось резко изменить состав студентов и аспирантов университета: с их легкой руки, ряд ведущих физиков, Владимир Фок, Лев Ландау, Семён Хайкин, были вынуждены покинуть МГУ. Доцента не смутило даже то обстоятельство, что все они были заняты разработкой сверхсекретной ядерной проблемы: «Современная обстановка требует от нашей партии не уступок некоторым ученым в надежде, что они создадут атомную бомбу, а непримиримость ко всяким отступлениям от марксизма-ленинизма, ибо это оружие сильнее любой бомбы». Однако в мае 1945 года секретарь ЦК умер, а лишившийся своего покровителя Ноздрев не был переизбран секретарем парткома. Правда, он нашел себе нового покровителя, на сей раз раз секретаря ЦК КПСС Андрея Жданова. Доцент Ноздрев написал ему пространное письмо аж на девяти страницах, в котором вновь, не скупясь на детали, подробно рассказал о «нетерпимом положении в современной физике». И вновь бил в набат, упрекая академическое начальство в близорукости, утверждая, что евреи не дремлют и стремятся занять «хлебные места» в науке.

С 1953 года для укрепления национальных кадров Ноздрев был переведен в МОПИ, сначала в качестве проректора, а с 1960 года — и ректора института. Надо думать, в вузе Василий Фёдорович был, что называется, «своя рука владыка», и кадровую политику творил самостийно, евреев на руководящие посты не пускал. Тех же, кто работали в МОПИ до него, он не трогал, руководствуясь телефонным принципом советского кадровика: «Старый лес — не рубить, новый — не сажать». Надо заметить, что Абрамович пришел в педвуз еще в начале 1930-х годов, так что его лес был «старым».

Характерный эпизод — во время юбилейного вечера института, куда были приглашены сотрудники с женами, Ноздрев выступил с торжественной речью, в которой упоминал всех замечательных профессоров вуза и, когда стал перечислять словесников, услышал подсказки с мест: «Абрамович», «Абрамовича забыли». И только в самом конце, со скрежетом зубовым он назвал неудобную фамилию. И тут в действие вступила неустрашимая Екатерина Михайловна, бросившаяся на защиту мужа. «Знаете, я учительница, — обратилась она к ректору, — и всегда за подсказку ставила двойку». Ноздрев был взбешен и, отозвав Абрамовича в сторону, с плохо сдерживаемой яростью изрек: «Что это позволяет себе Ваша жена? Я вас всех насквозь вижу!» Не вполне понятно, кого имел в виду ректор: евреев или подведомственных ему профессоров, только после этого эпизода он как ни странно, стал относиться к Григорию Львовичу менее предвзято. В бытность Ноздрева ректором Абрамович был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», значком «Отличник народного просвещения СССР».

Правда, окончательно завоевать симпатии Ноздрева Григорий Львович так и не сумел. Потому, надо думать, ректор рассудил за благо скрыть от него приглашение на Съезд славистов в Голландии в 1971 году, где главным пунктом повестки дня значился доклад Абрамовича об учебнике «Введение в литературоведение» с последующим его широким обсуждением учеными коллегами Европы и Америки. Как потом стало известно, голландцам объявили, что докладчик болен и на съезд явиться не может. Стало быть, углядел Ноздрев в Григории Львовиче, коммунисте и фронтовике, этакую «червоточинку», не позволявшую ему разрешить Абрамовичу представлять от СССР в этом «логове капитала».

Зато никто не помешал Абрамовичу принять участие во встрече с писательницей Бел Кауфман, внучкой почитаемого им с детства классика еврейской литературы Шолома Алейхема, приехавшей в 1968 году из США в Москву по приглашению Союза писателей СССР. Ее оригинальный роман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (русский перевод 1967) о жизни американской школы был с интересом прочитан и высоко оценен советским читателем. В от-

вет на восторженные слова Абрамовича о ее великом дедушке, первые произведения которого он читал еще в детстве, Кауфман в свою очередь призналась, что, оказывается, давно следит за работами Григория Львовича, даже как преподаватель литературы читала его «Введение в литературоведение» и нашла учебник превосходным. Интерес ее был вовсе не праздным: фамилию Абрамович носил большой друг и коллега ее деда, известный идишский писатель Менделе Мойхер-Сфорим с его «грустной симфонией еврейской литературы», и ей не терпелось узнать, как живут в России, откуда эмигрировал когда-то ее дед, современные «Абрамовичи». Спросила она, конечно, и об антисемитизме в СССР, посетовав, что в США отдельные проявления иногда случаются. Что мог ответить коммунист Абрамович на встрече с американкой, да еще в присутствии «литературоведов в штатском»? Конечно же, нет. Решительное, категорическое «нет».

В качестве примера он привел свою судьбу, рассказав, как он, еврейский мальчик из провинциального городка, стал ученым. «Я счастлив своей страной, где все только благоприятствовало моему становлению и росту», — отчеканил он бойко, словно отвечал хорошо выученный урок. Как будто его восхождение к вершинам науки было сплошным победным маршем. А добился превосходства он как раз потому, что с первых шагов ему было отказано в равенстве, и мир стал для него полем мучительных преодолений. Не сказал Абрамович и того, что секрет его внешне столь завидной карьеры в том, что он всю жизнь пытался создать себя — ученого, учителя словесности, лектора, воина, — словом, человека во многих ипостасях. Что верил в людей и был добр к ним, и те отвечали ему тем же. Немного задумавшись, он все же прибавил: «Надо найти в себе человека, надо создать себя для людей!»

И прощание с Григорием Львовичем в 1979 году было теплым, многословным. Гражданская панихида проходила в переполненном актовом зале МОПИ. Все ораторы вспоминали труды и дни покойного литературоведа. Говорили много и разное, но неизменно с любовью и уважением. Он был ровесником XX века и вместе со страной прожил жизнь тревожную, яркую, интересную, став видным ученым современности. Через грозы и лихолетья он нес в себе неповторимый образ учителя словесности.

**P. S.** Григорий Львович Абрамович приходится автору этого текста дедом по материнской линии.

## ЛИНИИ СУДЬБЫ В РАССКАЗАХ О. ГЕНРИ

(к 160-летию О. Генри)

ШТУДИИ

**Уильям Сидни Портер** (1862–1910), известный под литературным псевдонимом **О. Генри**, — замечательный американский писатель-новеллист, один из самых любимых и читаемых у нас зарубежных авторов.

Его жизнь, полная загадок и тайн, ударов и подарков судьбы, падений и взлетов к вершинам славы, могла бы лечь в основу увлекательного приключенческого романа. Бурный водоворот жизненных обстоятельств закручивался с невероятной силой. Аптекарь-фармацевт в захолустном городке штата Северная Каролина, техасский ковбой на Западе, счетовод, мелкий клерк-чертежник в земельном управлении, художник-карикатурист, репортер и редактор маленькой газеты, кассир в банке, беглец вне закона в Гондурасе, тюремный узник, журналист, писатель — все это О. Генри. Не подсчитать, насколько огромен был накопленный им запас впечатлений и метких наблюдений. Неслучайно последний прижизненный сборник произведений писателя называется **«Коловращение»** (1910). Сюда также был включен рассказ **«Коловращение жизни»** (1903).

В новелле **«Искатели приключений»** (1909), словно подытоживая свой жизненный и творческий путь, О. Генри говорил: «Это плавание без руля и компаса, где приходится самому быть и капитаном, и экипажем, и одному день и ночь бессменно стоять на вахте»<sup>1</sup>.

Мастерство писателя в жанре короткого рассказа столь совершенно, что О. Генри называли даже «американским Чеховым»<sup>2</sup>. Вслед за Антоном Павловичем Чеховым (1860–1904), с которым О. Генри был почти ровесником, он мог бы сказать о себе: «Умею коротко говорить о длинных вещах». В полной мере он воплотил чеховский принцип «писать талантливо, т.е. коротко». Рассказы О. Генри также иллюстрируют знаменитую чеховскую мысль: «Краткость — сестра таланта».

Крохотный рассказ объемом всего в четыре страницы **«Дары волхвов»** (1905) принес писателю поистине всемирную славу, сделал его известным во всей Америке, а затем и в целом мире.

Читатели были очарованы и растроганы историей о молодых людях, снимающих квартиру за восемь долларов в неделю, в обстановке которой «не то чтобы вопиющая нищета, но, скорее, красноречиво молчащая бедность» (1, 109). «Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу» (1, 109), — таков в рождественский Сочельник

<sup>1</sup> О. Генри. Собр. соч.: В 5 т. — М.: Литература; Престиж книга; РИПОЛ классик, 2006. — Т. 4. — С. 205. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>2</sup> См.: Степанов Б. Американский Чехов // Народный учитель. — 1924. — № 1.

семейный бюджет молодой пары, несмотря на жесточайшую экономию и бережливость в ведении домашнего хозяйства.

Героям пришлось пожертвовать самым ценным, что было у каждого из них, чтобы преподнести друг другу на Рождество давно желанные подарки. Джим продал фамильные золотые часы, для того чтобы купить черепаховые гребни для роскошных волос жены. А Делла отрезала и продала волосы, чтобы подарить мужу платиновую цепочку для его карманных часов. Радостные ожидания героев и читателей, их надежды на традиционный рождественский счастливый конец («happy end» — хэппи-энд), казалось бы, обмануты. Но разочарование, состояние оцепенения, как у Джима: «в первую минуту немножко оторопел» (1, 112), — длится лишь мгновение.

В парадоксальной игре смыслов писатель открывает смысл истинный, христианский, позволяющий оценить неожиданную развязку рассказа именно как счастливый конец. Пусть подарки, ради которых молодые супруги отказались от своих единственных сокровищ, в практическом применении оказались бесполезными. Зато герои доказали свою самоотверженную преданность, еще раз подарили друг другу свои верные сердца и вместе с тем принесли в дар новорожденному Христу сокровища своих любящих душ. Подобно тому, как волхвы — древние восточные мудрецы-звездочеты, ведомые Вифлеемской звездой, предузнавшие Рождество Божественного Младенца, — поднесли Ему свои драгоценные дары: *«И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну»* (Мф. 2: 9–11). Золото — как царю, ладан — как Богу, смирну (благовонную мастику для натирания тела) — как человеку, которому неизбежно суждено умереть.

Финал рассказа О. Генри возвращает читателя к названию произведения. Писатель дает свое, чуть ироничное — на современный лад, истолкование рождественской истории: «Волхвы, те, что принесли дары Младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности» (1, 112).

Однако обмен или возврат в магазин подарков, оказавшихся непригодными для молодоженов-героев рассказа, сделать, может быть, было бы можно; не вернуть только волосы и часы, при помощи которых эти подарки были оплачены.

С первых строк повествования речь идет, казалось бы, о предметах «низких», сугубо бытовых: о житейской нужде, скрупулезных — до последнего цента — подсчетах скудных денежных сумм. Но сюжет парадоксальным образом ведет от материальных проблем к духовному возвышению молодых «немудрых» героев, которых О. Генри не просто сопоставляет с евангельскими волхвами, но даже возвышает над ними: «А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы» (1, 112).

Открыто обращенное к читателю заключительное авторское слово делает его похожим на рождественскую проповедь. Это очень напоминает по смыслу и тону проповедническое слово православного батюшки в авторском пересказе в святочном рассказе Н. С. Лескова (1831–1895) «Зверь» (1883): «Он за-

говорил о *даре*, который и нынче, как и "во время оно", всякий бедняк может поднести к яслям "Рожденного Отроча", смелее и достойнее, чем поднесли золото, смирну и ливан волхвы древности. Дар наш — наше сердце, исправленное по *Его* учению. Старик говорил о любви, о прощении, о долге каждого утешить друга и недруга "во имя Христово"... И думается мне, что слово его в тот час было убедительно... Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы...»<sup>3</sup>

«**Дары волхвов**» О. Генри «достигли до цели» и до сих пор не перестают трогать сердца людей.

Поделюсь еще одним своим наблюдением, связанным с восприятием этого рассказа в современной России. Наши подростки — жертвы цифровизации — в большинстве своем вообще не читают художественную литературу или читают неохотно кое-что из школьной программы, по принуждению, а некоторые — что греха таить! — при современном уровне образования даже не умеют связно читать или разбирают текст по слогам, подобно толстовскому Филиппку. Но удивительное дело: все они хорошо знают и любят «**Дары волхвов**». Многие выпускники лицеев и школ в своих итоговых сочинениях приводят именно этот рассказ.

Он настолько популярен, что «волосы и часы» стали, как говорят сейчас, «мемом» (от английского слова meme) в значении узнаваемой единицы популярной культурной информации — идеи, образа, символа и т. д. Так, например, на Святики мне не раз доводилось видеть расклеенные по городу, даже на подъезде моего дома, объявления: «Покупаем ВОЛОСЫ и ЧАСЫ. Дорого».

Метаморфозы, выдумки, шутки, «сюрпризы и внезапности» переполняют неподражаемые новеллы О. Генри. Таковы, например, «**Родственные души**» (1904) и «**Вождь краснокожих**» (1907) — остроумные, яркие, эксцентричные. Они настолько динамичны, зрелищны, что были выбраны для экранизации в незабываемой и любимой зрителями всех поколений комедии советского режиссера Леонида Гайдая «**Деловые люди**», снятой в 1962 году — к столетию О. Генри.

Игра неожиданностями — один из излюбленных приемов поэтики писателя — удерживает читательское внимание в постоянном напряжении. Искушенный читатель стремится предугадать развязку анекдотического происшествия, занимательной истории, но чаще всего ему это не удается. Писатель снова его переиграл, и остается только удивляться неистощимой авторской изобретательности в воссоздании обычных жизненных ситуаций, из которых О. Генри умеет извлечь необычное. В то же время занимательность вовсе не самоцель писателя. Ему удается лаконично выразить глубочайшие мысли особыми средствами художественной выразительности — чаще всего при помощи говорящих деталей с их многозначностью, смысловой емкостью, уводящей в подтекст произведения.

Таков, например, замечательный рассказ «**Фараон и хорал**» (1904). Оригинальное название на английском языке «**The Cop and the Anthem**» переведилось на русский по-разному. Впервые: «**Полицейский и антифон**» в книге «**О. Генри. Рассказы**» (Петроград; Москва, 1923). Именование полицейского (policeman, police officer) на английском сленге «the Cop» — коп. Реже в этом значении употребляется «Pharaoh» — фараон. «Anthem» в переводе на русский язык — гимн, торжественная песнь, церковный хорал. Антифон — богослужбное пение. Словечко «коп» благодаря англо-американским фильмам сейчас настолько хорошо известно, что вариант перевода заглавия «**Коп и хорал**»

3 Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11. — М.: ГИХЛ, 1956–1958. — Т. 7. — С. 278.



ни у кого не вызвал бы вопросов, тем более, что в оригинале рассказа слово «Pharaoh» не встречается.

Уже на уровне заглавия проявилась парадоксальность как общая жанровая черта коротких рассказов О. Генри с их динамикой, внезапными сюжетными поворотами, непредвиденными развязками. Столкнулись два стиля: низкий и высокий, разговорный сленг, жаргон и приподнятая речь; соединились разноплановые понятия: социально-приземленное и церковно-возвышенное.

Главный герой рассказа — бездомный бродяга Сопи, обитатель ночлежек, завсегда тюремных камер. Первой морозной ночью перед лицом надвигающейся зимы он преднамеренно пытается снова угодить в каземат: «Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на Острове служила ему зимней квартирой» (1, 134).

В традиционном понимании жанра **«Фараон и хорал»** не является святочным рассказом. Время действия — предсвятки, если можно так сказать, то есть преддверие Рождества и Нового года — пора не менее счастливая, обычно заполненная приятными хлопотами в ожидании любимых празднеств, связанных с неистребимыми надеждами на грядущие перемены к лучшему, на обновление жизни, на чудо.

Сказочная атмосфера также вторгается в повествование о заурядном нью-йоркском бродяге. Оказывается, волшебные силы не отвернулись и от социально отверженного изгоя. Чудесным образом они посылают бесприютному бедняку свои знаки, чтобы уберечь его от риска насмерть замерзнуть на улице: «Желтый лист <в оригинале: «a dead leaf» — мертвый лист, то есть знак смерти. — А. Н. -С.> упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза; этот старик добр к постоянным обитателям Мэдисон-сквера и честно предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки Северному ветру, швейцару гостиницы "Под открытым небом", чтобы постояльцы ее приготовились» (1, 134).

Дух зимней сказочности, подобно персонифицированному Северному ветру, мгновенно улетучивается, когда писатель уже без прикрас рисует суровую правду жизни. Одновременно О. Генри иронизирует по поводу пресловутой американской мечты о быстром преуспевании в стране возможностей. Однако возможности эти у каждого слишком разные, и слишком велик разительный контраст между мечтами бедняков и планами тех, кто реализовал свою цель обогатиться во что бы то ни стало любыми, даже преступными, путями.

В ряде новелл О. Генри показал, что уважаемые буржуа ничем не лучше обыкновенных грабителей, гангстеров, бандитов с большой дороги. Так, в рассказе **«Дороги, которые мы выбираем»** («**The Roads We Take**», 1904) безжалостный разбойник, убийца, грабитель поездов на диком Западе Акула Додсон и преуспевающий глава маклерской конторы «Додсон и Деккер» с Уолл-стрит — финансового центра Нью-Йорка — это все та же акула, кровожадный и отвратительный хищник. Это один и тот же персонаж, одно и то же лицо с неизменным выражением:

«оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность» (4, 334). Правда, бывший бандит по кличке Акула, а ныне владелец коммерческой фирмы мистер Додсон теперь старается скрыть под маской благопристойности свою злодейскую сущность. Однако она поневоле проглядывает из-под лицемерной личины: «Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома» (4, 334).

«Все вы считаетесь достойными гражданами, а сами только и глядите, как бы заграбастать побольше, не давая взамен ни шиша. Не будь вас, разве существовали бы в нашей стране биржевики, перехватчики чужих телеграмм, шантажисты, продавцы несуществующих шахт, устроители фальшивых лотерей? Не будь вас, эти социальные язвы исчезли бы сами собой», — так О. Генри

устами героя своей новеллы «**Стриженный волк**» (1908) обличает омерзительных, наглых, лицемерных дельцов, прикидывающихся почтенными добропорядочными гражданами.

Но вернемся к бесприютному герою рассказа «**Фараон и хорал**»: «Зимние планы Сопи не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе. Трех месяцев заключения на Острове — вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды <...> — для Сопи это был поистине предел желаний. <...> Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Сопи делал несложные приготовления к ежегодному паломничеству на Остров. И теперь время для этого наступило» (1, 134).

Но даже и такое желание, которое назвать мечтой язык не поворачивается, не сразу достижимо для нищего. Трагикомично выглядят ситуации намеренного мелкого нарушения закона на глазах у полисменов с единственной целью — угодить в тюрьму. После нескольких неудачных попыток, при которых блюстители порядка не обращали на Сопи никакого внимания, он почти отчаялся: «Арест стал казаться ему радужной мечтой, Остров — далеким миражом» (1, 135). Насколько чудовищной, людоедской должна быть социальная система в так называемой свободной стране, чтобы лишение свободы было «радужной мечтой» бедняка!

Однако и для него намечается выход из тупика — возможность истинного возрождения. Неожиданно герой рассказа слышит звуки церковного органа в пустынном ночном переулке: «органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал» (1, 136). Торжествующая мелодия воскресного хора призывает погибающую душу к воскресению: «Под влиянием музыки, лившейся из старой церкви, в душе Сопи произошла внезапная и чудесная перемена» (1, 137).

Мотив чудесного связан уже не со сказочностью, а с реальными обстоятельствами. Это не заоблачные воздушные замки, а желание обычной, нормальной, человеческой жизни и решимость в стремлении обрести ее вновь: «хорал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше — в те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, друзья, и чистые мысли, и чистые воротнички. <...> Он с ужасом увидел бездну, в которую упал, увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и низменные побуждения, из которых слагалась его жизнь. И сердце его забилось в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой-судьбой. Он выкарабкается из грязи, он опять станет человеком, он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время еще не ушло, он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние честолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нем переворот. <...> Он хочет быть человеком. Он...» (1, 137).

И тут вдруг внутренняя речь внезапно и резко обрывается на полуслове: «Сопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собой широкое лицо полисмена.

— Что вы тут делаете? — спросил полисмен.

— Ничего, — ответил Сопи.

— Тогда пойдем, — сказал полисмен.

— На Остров, три месяца, — постановил на следующее утро судья» (1, 137).

Духовное озарение угасло. Музыка в душе стихла. Мечта истинная — не о тюрьме для зимовки, а о возрождении в новую жизнь, — оказалась радужным мыльным пузырем. Неслучайно имя, или скорее уличное прозвище,

Соару, которое носит герой рассказа, переводится как «мыльный». Никчемным мыльным пузырем в античеловеческом государстве оказывается и сам человек, очутившийся в безысходной жизненной ситуации и не сумевший выкарабкаться из нее. Этот мыльный пузырь лопнул под тяжелой рукой полисмена, решившего отправить за решетку подозрительного голодранца ни за что ни про что, просто так, когда Сопи меньше всего этого желал.

Первоначальная «мечта» героя исполнена. Но хэппи-энд здесь мнимый. Намек на несбыточность настоящей мечты, предвещающий драматическую развязку, можно было заметить в красноречивой художественной детали, дважды повторяемой писателем: «до ушей Сопи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки»; «хорал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решетке» (1, 136). Чугунная решетка (в оригинале «iron fence») церковной ограды обернулась для горемыки тюремной решеткой. «Iron» в переводе на русский язык имеет не только прямое значение — железо, сталь, чугун, черный металл, но и переносное — оковы, кандалы. «Fence» — забор, изгородь, ограда, ограждение. Герой, решившийся начать все заново, не имеет никаких шансов выбиться из нищеты к нормальной жизни. Сопи пойман в ловушку. Для него поставлено непреодолимое социальное ограждение, закрыты все пути, кроме застенка.

Добродушно-шутливый тон повествования не может скрыть боли, горечи и сострадания. В рассказе ясно выразились социальные симпатии автора, убежденного в несправедливости государственной системы, обрекающей на страдания массы внутренне чистых людей, не желающих идти против Бога и совести, и защищающей тех, кто ворует миллионами, наживает свои состояния грабежами и убийствами. О. Генри вполне удостоверился в том, что в Америке материальное благополучие и безумная роскошь одних зиждется на нищете и горе множества других.

«**Фараон и хорал**», как и «**Дары волхвов**», входит в состав цикла нью-йоркских рассказов «**Четыре миллиона**» (1906). В предисловии к первому изданию О. Генри объяснил выбор заглавия и тематическую специфику этого сборника: «Не так давно один выдумщик заявил, что в Нью-Йорке имеется не более четырехсот человек, достойных внимания. Но отыскался другой человек — он занимается переписью населения в Нью-Йорке, — и его более мудрый подсчет помог нам найти название для этого сборника: "Четыре миллиона"» (1, 189). Четыреста человек — это так называемая элита, богатейшая верхушка общества. Все остальные четыре миллиона — такова была численность населения Нью-Йорка к тому времени — рядовые американцы, разделенные социальной и имущественной пропастью с хозяевами жизни и денег.

Изображая вопиющее социальное неравенство, О. Генри обличал «абсурдность системы, при которой ужасающая бедность была источником огромных фантастических богатств и при которой богатые стали рабами своих богатств и потеряли все человеческое. Для О. Генри они были чудовищами, которые вытягивали капиталы из бедных, которым они платили крохи, едва достаточные, чтобы прокормиться и помогать богатым делать свои миллионы»<sup>4</sup>, — справедливо отмечалось в статье к столетию писателя.

Не эти забравшиеся на вершины власти толстосумы, а самые обычные люди оказались в фокусе пристального писательского внимания О. Генри, стали героями его произведений. «Он поэт четырех миллионов»<sup>5</sup>, — образно отозвался об О. Генри Корней Чуковский (1882–1969), явившийся одним из первых переводчиков и популяризаторов творчества американского писателя в нашей стране.

4 Самарин Р.М. Поистине замечательный писатель // Известия. — 1962. — 13 сентября.

5 Чуковский К.И. О. Генри // Современный запад. — 1923. — № 3.

Сверхъестественная наблюдательность позволила О. Генри чутко уловить искру Божию — живую человеческую душу, тянущуюся от мрака к свету, каким бы трудным ни был этот путь, — в каждом из его неприметных, на первый взгляд, ничем не выдающихся героев; прочертить линии их судеб.

Рассказ, открывающий сборник, так и называется — «**Линии судьбы**» (1903). В оригинале: «**Tobin's Palm**» («**Ладонь Тобина**»). Но не шарлатанке-гадалке прорицать за десять центов по линиям на ладонях бедняков их судьбы, потому как, подмечает О. Генри, «иной судьбы на ладошке не прочтешь, кроме той, какую отпечатала тебе рукоятка кирки» (1, 108). Писатель сам выступает как «посланец судьбы» для простого человека: «моя профессия называется литературой. Я брожу по ночам, выслеживаю чудачества в людях и истину в Небесах» (1, 108).

Порой Небесная истина проявляет себя как настоящее чудо. Не мистическое или сказочное, а вполне реальное, возможное, выполнимое и объяснимое, как, например, рукотворное чудо в рассказе «**Последний лист**» (1905). Старый художник, вечно мечтавший создать шедевр, в ненастную осеннюю ночь под проливным дождем нарисовал зеленый листок плюща на окне умирающей девушки по имени Джонси, чтобы вселить в нее волю к жизни. От соседки старик узнал о болезненной фантазии Джонси: «Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я» (1, 260). Когда девушка поправилась, подруга открыла ей тайну чудесного выздоровления: «Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист» (1, 262).

Иногда чудо вызвано удачным стечением обстоятельств, как в новелле «**Третий ингредиент**» (1908), где бедная художница-миниатюристка, такая же маленькая и хрупкая, как ее миниатюры, устав бороться с судьбой, бросилась с палубы в воду, но была спасена молодым незнакомцем с удивительно добрым лицом. «Когда чувствуешь себя усталой, или несчастной, или во всем разуверишься, доброта важнее всего», — афористически утверждает писатель устами своей «миниатюрной миниатюристки».

В большинстве своем герои рассказов О. Генри, несмотря на усердный труд, постоянно балансируют на грани нищеты и вынуждены прикладывать усилия для простого физического выживания, преодолевая превратности судьбы. «Судьба швыряет тебя из стороны в сторону, как кусок пробки в вине, откупоренном официантом, которому ты не дал на чай», — замечал писатель в рассказе «**Один час полной жизни**» (1904). В оригинале: «**The complete life of John Hoprins**» («**Полная жизнь Джона Хопкинса**»).

Но даже в таких условиях скромные труженики умудряются сохранять чувство человеческого достоинства, силу воли, стремление к добру. Такова, например, героиня рассказа «**Горящий светильник**» (1906) Нэнси — продавщица в магазине роскошных вещей, получающая нищенскую плату в размере восьми долларов в неделю.

Девушка приехала в Нью-Йорк из маленького городка, потому что родители не смогли прокормить ее. Как говорит приятельница Нэнси гладильщица Лу, чей каторжный труд в прачечной оплачивается на десять долларов выше, ее подруге нравится «голодать и важничать» (1, 192). В модном магазине Нэнси «окружали красивые вещи, дышавшие утонченным вкусом. Если вокруг вас роскошь, она принадлежит вам, кто бы за нее ни платил — вы или другие» (1, 192–193), — афористически заключает О. Генри.

Несмотря на скудное жалование, девушка изо всех сил старается создать видимость благополучия, не допустить оплошности, показать себя с наилучшей стороны: «Нэнси не кутается в меха от резкого весеннего ветра, но свой короткий суконный жакет она носит с таким шиком, как будто это каракулевое

манто. Ее лицо, ее глаза, о безжалостный охотник за типами, хранят выражение, типичное для продавщицы: безмолвное, презрительное негодование попорченной женственности, горькое обещание грядущей мести. Это выражение не исчезает, даже когда она весело смеется. То же выражение можно увидеть в глазах русских крестьян, и те из нас, кто доживет, узрят его на лице архангела Гавриила, когда он затрубит последний сбор» (1, 191).

Название «**Горящий светильник**» («**The Trimmed Lamp**»), послужившее также заглавием сборника рассказов О. Генри (1907), куда вошли такие маленькие шедевры, как «**Русские соболя**», «**Пурпурное платье**», «**Последний лист**» и другие, вызывает ассоциацию с евангельской притчей о мудрых девах, которые всегда держали свои светильники наготове, полностью заправленными лампадным маслом, чтобы в предназначенный час встретить грядущего жениха (ср. Мф. 25: 1–10). Героиня рассказа О. Генри — потенциальная невеста, подобная одной из таких мудрых дев: «Ее заправленный светильник не угасал, и она готова была принять жениха, когда бы он ни пришел» (1, 196).

Нэнси заражена повальной инфекцией, поразившей большинство неимущих провинциалок из захолустья, наводнивших большие города. Эта заразная болезнь незамужних девушек — иллюзорная мечта найти богатого жениха, лучше всего — миллионера. В безжалостном мире каменных джунглей-небоскребов Нэнси ощущает себя охотницей: «Она шла по следу великой неведомой "добычи", поддерживая свои силы черствым хлебом и все туже затягивая пояс» (1, 194).

Многих состоятельных мужчин привлекают «поддельный светский тон Нэнси и ее неподдельная изящная красота» (1, 193). Один из них даже делает официальное предложение руки и сердца, но получает отказ. Требование Нэнси к будущему избраннику не только его туго набитый кошелек: «Это правда — я хочу подцепить богача. Но мне нужно, чтобы это был человек, а не просто громыхающая копилка» (1, 194).

Под влиянием мысли о приоритете истинно человеческого начала перед материальным благосостоянием, о превосходстве души над кошельком героиня постепенно начала избавляться от заразной болезни — желания выйти замуж за миллионера. Видоизменялись и жизненные установки Нэнси: «может быть, бессознательно — она узнала еще кое-что. Мерка, с которой она подходила к жизни, незаметно менялась. Порою знак доллара тускнел перед ее внутренним взором и вместо него возникали слова: "искренность", "честь", а иногда и просто "доброта"» (1, 196).

Все эти душевные качества открылись Нэнси в простом и надежном парне-работяге. Дэн — «серьезный юноша в дешевом галстуке» (1, 192) — стал ее мужем. С этим персонажем связан замечательный афоризм О. Генри: «Он принадлежал к тем хорошим людям, о которых легко забываешь, когда они рядом, но которых часто вспоминаешь, когда их нет» (1, 195).

По ходу развития действия писатель приправляет свои истории буквально россыпями афористичных мыслей — зачастую в тоне легкой иронии. Так, в «**Горящем светильнике**» читаем: «Женщина — самое беспомощное из земных созданий, грациозная, как лань, но без ее быстроты, прекрасная, как птица, но без ее крыльев, полная сладости, как медоносная пчела, но без ее... Лучше бросим метафору — среди нас могут оказаться ужаленные» (1, 193).

О. Генри стал голосом простых людей — своих современников, сделал их достойными изображения в литературе, рассказал об их повседневной жизни, о беспросветных буднях в трудах и горестях, о редких праздниках, отмеченных проблесками кратковременной радости. В пестром калейдоскопе событий и лиц почти трех сотен рассказов О. Генри создал объемную панораму жизни, показал представителей различных сословий и званий, общественных групп, множества профессий. Их можно было бы долго перечислять, но не сто-

ит труда. Ведь, с точки зрения писателя, социальный статус или род занятий не должны затмевать в человеке человеческое, его неповторимую личность, образ и подобие Божие. «Однако с какой стати название профессии превращать в определение человека?» (1, 191) — задавал риторический вопрос О. Генри.

Сам он был сродни своим героям. Искренняя и глубокая заинтересованность писателя в судьбах людей, любовь к ним не могли не вызвать ответной любви. В этом секрет необычайной популярности О. Генри. При жизни он был подобен «горящему светильнику» из своих рассказов, своим творчеством писатель нес свет — по заповеди: *«Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет»* (Лк. 8: 16). И, даже умирая, продолжал стремиться к свету: «Зажгите свет, я не хочу возвращаться домой в темноте», — таковы были последние слова О. Генри.

Ирина АНТОНОВА

## НЕМНОГО ВОЛШЕБСТВА ОТ АЛЕКСАНДРЫ КРЮЧКОВОЙ

**«Одинокая Колдунья желает познакомиться»** — книга мистических стихов Александры Крючковой, о которой писать не просто. Столько разных чувств она вызывает. В каждом стихотворении — «крылатая строчка», «тонкая перефразировка», которая тут же врезается в память:

«в хорошие руки отдам я клубочек  
бессмертных фантазий Души...»  
(«Отдам в хорошие руки»)

Именно они, удивительные фантазии, скользят подобием лунных теней и делают мир волшебным. В этом мире хочется задержаться подольше, побродить по неведомым тропинкам, пробраться в тридевятое королевство за тридевять земель:

«Раскрыто в полночи окошко,  
Не жди мифической тиши, —  
Проводит Лунная дорожка  
В страну загадочной души.

Сорвется с таинства завеса  
В краях затерянных чудес,  
Где домик пряничный у леса —  
Приют для странников Небес,

Там пляшут гремлины и духи,  
Кружат крылатые слова,  
А утром новости и слухи  
Шерстит почтовая сова...

Раскрыто в полночи окошко,  
Ступай за тридевять морей –  
Доставишь Солнышка немножко  
Душе загадочной моей...»  
(«Там, на неведомых дорожках»)

Этот мир возвращает читателя в детство, и он снова чувствует себя ребенком, который верит в сказку, и оттого чудо обязательно произойдет!

«Фонарик лунный — юным месяцем —  
На пальме вкрадчиво завис,  
К Созвездьям в гости — вверх по лестнице, —  
Взлетает девичий каприз.

Явись же, милый! — чудо-лодочка  
Морфеем выдана в прокат...  
Сегодня счастьем вспыхнет звездочка  
Над морем сказочных цикад...»  
(«Фонарик на пальме»)

\* \* \*

«Волшебной флейтой встретят нас  
Лесные эльфы в лунных фраках...»  
(«Гномы, эльфы и другие»)

\* \* \*

«Все чаще старуха встречается —  
Подходит с косою ко мне,  
Но даже пред смертью мечтается  
О принце на белом коне...»  
(«Русалочка»)

Надо сказать, что стихи в книге очень добрые, а многоликая героиня волшебного мира — «девочка Весна», «одинокая колдунья», «маленькая ведьмочка», «лунная роза», «стальная леди» — покоряет читательские сердца необъяснимым очарованием в любом своем амплуа, поскольку даже за суровым имиджем скрывается затаенная нежность, самоирония, озорство и надежда найти «своего человека».

«Моделька дьявольски сложна!  
Да-да! И волосы — из меди!..  
Но, если б знал ты, как нежна  
На вид железная миледи!»  
(«Стальная леди»)

\* \* \*

«<...>  
Здравствуй, функция “Поиск” в заветной программе!  
Срочно ищем Мужчину с душою нетленной!»

Вздвогнул голос в экране: «Какие приметы?  
Вдов ли? Холост? В разводе? Дочурки? Сынишки?  
Любит: Музыку? Фильмы? Открытки? Монеты?  
Книжки? Шахматы? Шашки? А, может, картишки?

В жизни: Воин? Алхимик? Астролог? Строитель?  
Сторож? Скульптур? Дизайнер? Писатель? Художник?  
Блогер? Хакер? Директор? Ученый? Учитель?  
Пекарь? Лекарь? Аптекарь? Священник? Безбожник?

Номер: дома? Квартиры? На юге зимует?  
Отпуск: дачный? На море? А кто он по Знаку?  
Сайты? Мэйлы? Соц. сети? С кем дружит? Воюет?  
Держит: рыбок? пернатых? котенка? собаку?



Имя мамы? Крещеный? Сестренка? Без брата?  
Мастью: Лысый? Высокий? Знакомства из Круга...?» –  
...Разве важно все это? — <...>»  
(«Я ищу Человека»)

Ироничный взгляд Александры Крючковой на чародейство не просто вызывает улыбку, но и помогает читателю взглянуть на мир проще:

«Решила я отправиться  
За помощью небес  
К цыганочке, что славится  
Творением чудес.

Надеждами на сладости  
Мы солнышко вернем!  
Поверю я от радости  
Пророчествам о нем! —

Зашлепаю, как школьница,  
По лужицам домой:  
“Все тайное исполнится,  
Он встретится со мной!”

Ни магии, ни палочки...  
Но в горестный рассвет  
У опытной цыганочки  
Есть правильный ответ!»  
(«Волшебных палочек.net»)

«Одинокая Колдунья...» Александры Крючковой — победитель конкурса «Лучшая книга года» в номинации «Миры поэтов» имени Анны Ахматовой 2022 (Московская городская организация Союза писателей России, НП «Литературная Республика»). Сложно сказать, чье «колдовское» влияние сильнее сказалось на стихотворениях Александры, представленных в данном сборнике — Анны Ахматовой или Марины Цветаевой. Судите сами:

«Мы вместе гадали на Святки,  
С надеждой смотрели в рассвет, —  
И карты, и руны, и свечи  
Шептали, что случай не врет!  
В Скрижалях разлуки и встречи  
Верстают на годы вперед!»  
(«Крещенские гадания»)

\* \* \*

«Шепталась с дрожащей свечою,  
Чтоб призрак в реальность проник...»  
(«Вызов духа»)

\* \* \*

«Полночь мысли коверкала:  
“Снегом не тай!”  
В светлый праздник Крещения  
Горе притихло,  
Только в сводах у зеркала —  
сонмы из стай —  
Души жаждут общения...  
“Жив ли жених мой?!”

Волки взвыли, и холодом  
вздрагнул эфир:  
“Разве мало веселого  
вспомнить невесте?”  
Только город за городом  
рухнул весь мир,  
В самом центре которого  
жили мы вместе...»  
*(«Крещенское Зеркало»)*

\* \* \*

«Помню яркую одежду,  
Хлеб да соль,  
Мысли дергали надежду:  
“Я — Ассоль?!”

Тосты ластятся прилежно,  
Смысл пронзит:  
“В жизни плаванье — безбрежно,  
Смерть — транзит!

Лучше славного кинжала  
Твой хорей!”  
Рифма жалобно дрожала:  
“Грэй, согрей!”

Парус — мимо, в окнах — лгунья  
Тьма — не Ночь:  
“Грэй — Ассоль, ты — колдунья,  
Чем помочь?”»  
*(«Не Ассоль»)*

\* \* \*

«Воздух — глотком — за встречи!  
Залпом! — до дна! — прилично!  
К черту — слова и речи! —  
Сердцем читать привычно!

В щеку — щенком, в кармане —  
Карты семей не свитых...  
Солнцу — поклон, но в Храме  
Черной Луной убитых

Вряд ли отпеть возьмутся, —  
Мы же с тобой — дервиши! —  
Проще самим вернуться  
Танцем планет на крыши...»  
(«Дервиши»)

Настоящая поэзия способна сотворить Вселенную и очаровать путешественников по ней странников. Автор не только виртуозно владеет техникой стиха, но — что гораздо сложнее — с помощью точного образа и угаданной интонации с первых строк завоевывает читателя и ведет по Вселенной, созданной творческим воображением, в поисках смыслов, и это уже — не ворожба, а философия:

«Проведаем Ассирию и Рим? —  
Все Прошлое — воссоздано Вселенной:  
Не истинно — что временно и тленно,  
Но истинно — что временно не зрим...»  
(«Звездные тропы»)

Скажу откровенно: на мой взгляд, книга «Одинокая Колдунья желает познакомиться» — самое настоящее волшебство, которого всем нам так не хватает сегодня. Благодарю автора за стихи! Присоединяйтесь!

Пять повестей, составившие новый сборник Павла Рыкова «Возвращение ветра», наполнены той непреходящей болью за русского человека, с которым мы впервые сталкиваемся, читая классиков за школьной скамьей. Кажется, так все безнадежно запутано у его персонажей, столько боли им довелось пережить, что непонятно: что с этой болью делать. И одновременно — все просто. Просто каждый человек ищет счастья. Просто каждый стремится к Богу: наугад, вслепую, не называя по имени. А найдя — переживает трансформацию. Порой настолько мучительную, что человеку легче сломать себе жизнь, нежели измениться. Тогда проще отказаться, не впускать Бога к себе в сердце, все, что угодно, лишь бы сохранить хрупкое чувство собственной правоты. Так, писатель Никита, герой повести «Сексот», категорически не понимает, как может бывший подполковник призывать к покаянию за недостойные деяния, в частности, за доносы. Более того, бравый военный прямо говорит возмутительное слово «грех»! Этого Никита перенести не в силах: «— Каяться?! Я и не думаю каяться, товарищ подполковник! В чем моя вина? Вы — свой долг исполняли. Я — свой. Такое время было. Помните, что вы мне сказали, когда машинку пишущую вручали?». Обратим внимание, как автор выстраивает эту сцену. Писателю не все равно, ему далеко не безразлично, что говорит «товарищ подполковник». Если бы его сердце было наглухо закрыто, он просто покрутил бы пальцем у виска и вышел из помещения восвояси. Но нет! Дубовая киянка в руке «труженика пера» опускается на символ возрождения души — храм из спичек...

В этой книге мы не найдем безоблачно счастливых: к самому важному в своей жизни герои Павла Рыкова продираются сквозь тернии страданий. Олег, герой повести «Возвращение ветра», поначалу не очень-то хорошо отзывается о своих женщинах, бывшей жене и нынешней даме сердца: «Вот и губы не накрашены. Или накрашены — разбери-пойми в темноте. Ляпнуть про шею? А зачем? Жгучее некогда желание причинить ответную боль давно поутихло. Их горячая, до истерик, любовь разом остыла, когда он наткнулся на проклятые почеркушки на комсомольских бланках. В конце концов, он давно свое поражение компенсировал. И его нынешняя, как бы это поточнее сказать, партнерша вполне приемлема в постели и, кажется, любит его». Павел Рыков владеет не только самим словом, описывая драматические судьбы своих персонажей, но и нюансами слова, за которыми прячутся жизненные реалии этих людей. Сомнение, закравшееся в душу Олега, автор осторожно фиксирует вводным словом «кажется». Эта шаткость отношений поддерживается тем, как автор определяет статус текущей «половины» Олега: «партнерша». Слово-то какое, иноземное, модное нынче не только на Западе. Но там это в порядке вещей, а нам чуждо. Отголосок неуверенности, перерастающей в настоящую потерю жизненных ориентиров, выражается и в обилии вопросов, которые герой задает сам себе. И лишь в конце, делая окончательный выбор, мужчина тверд и решителен. Не нужен ему Лондон, нужно настоящее, то, что едва не по-



гибло по его вине. Удастся ли герою хоть что-то исправить? Так хочется в это верить!.. Может быть, уже поздно изменить события чисто физического плана, но за душу этого человека читатель спокоен. Павел Рыков мастерски вводит и еще одну символическую деталь: колобки, которые печет бабушка своему внуку. Это и мощная отсылка к русской сказке, и метафора жизни внука — все катится Олежек куда-то, не в силах остановиться, все мечется, не в силах осесть, завершить своим скитания: ни развестись с одной, ни жениться на другой, несмотря на всю свою успешность на ниве бизнеса. Кстати, есть теория, в которых конец сказки о хлебце-поскребыше не такой трагический, как тот, который мы знаем с детства: в ней лиса метафорически отождествляется с женщиной, с которой мужчина создает себе пару, продолжая свой род. А, стало быть, никто никого не ест... Впрочем, это уже читатель утешает сам себя, переживая за судьбу неприкаянного эмигранта.

Три начала доминируют в прозе Павла Рыкова: жизнь, смерть и любовь. И смерть вопиет так же громко, как жизнь. Отсутствие любви делает нашу жизнь пустынной. Отблеск любви, пусть утраченной, оживляет ее: Андрей смотрит на снег, и сердитая стихия оживает в его восприятии: «Снег повалил еще гуще. Снежинки летели какие-то необычайно крупные, на манер тех, что рисуют в детских книжках. Каждая виделась по-отдельности, отчетливо. Каждая была событием. Странно: когда бы он рассматривал каждую снежинку? Снег всегда был всего лишь дополнительным отягощением во время гонок — и не более. Летел, взвихриваемый шипованными колесами Зверя. А теперь, а теперь... Этот снег, и еще глаза Даши, наливающиеся слезами...». Герой повести «Окно напротив» взывает к Всевышнему. Последнее слово, которым заканчивается финальная повесть сборника — протяжный, отчаянный призыв к Богу: «Господи!». Ибо хитросплетение трех великих стихий мира сего никто не в силах распутать, кроме Отца Небесного.

Человек стремится к счастью, однако, порой, слишком поздно понимает, что счастье всю жизнь ждало рядом, достаточно было лишь... между строк читается глагол «смириться», специфически христианский, хотя автор напрямую его не проговаривает. Каяться — да. А это уже — следующий этап, слишком личный и горький. Огромное женское счастье — стать матерью — становится для Тули недоступным, Даша пытается наложить на себя руки из-за несчастной любви — и в итоге отрекается от отношений в принципе, готовясь принять монашеский постриг. Есть ли счастье в устремлении к Богу? Безусловно. Только вот приходят к нему люди не напрямик, а изрядно намучившись, наплакавшись, натворив непоправимое... Однако несмотря на то, что эта книга весьма печальна, она не оставляет ощущения безысходности. Потому что человек — такое странное существо, которое не только с помощью внешних ритуалов может общаться с Богом, но и, что называется, на уровне подсознания, задолго до того, как это общение приобретает материальную форму: от рождения и до смерти; и идет это непрерывное общение в самой глубине человеческой сущности. Именно оно определяет выбор: остаться на Родине или уехать на Запад, покаяться или сбегать от себя самого, оставив после себя боль и разруху. В общем, эта книга о предательстве и любви. И о Боге, которого как бы нет, но который, несмотря ни на что, все-таки есть.

**Ольга ЕФИМОВА**

**Евгений Степанов, «Прикосновение» (книга верлибров)  
Москва, Омск: Издательство «Вест-Консалтинг»,  
Фонд Олега Чертова, 2018**

Пианистическое туше, нежное прикосновение к черно-белым клавишам слов:

ничто  
или  
ничто

главный и наивный вопрос ускользающей жизни

Не потому ли названа книга верлибров Евгения Степанова «Прикосновение»?

Верлибры музыкальны — вдруг покажется: серебряный клавесин звучит на заднем плане, а здесь — нечто от звука позабытой, такой красивой, напоминающий фантастический древесный плод, лютни...

Метафизика и музыка, соединяясь причудливо, выстраивают лесенки слов, спускаясь по которым в глубины смысла, непроизвольно сопоставляешь свой опыт с опытом поэта, предлагающего откровения без рифм:

небо  
человек и небо  
человек и человек  
человек и животное  
человек и вода  
человек и дерево  
человек и трава  
человек и земля  
человек и огонь  
человек и камень  
человек и небо  
небо

Круг единства, соединенность всего со всем, камень, своеобразно представляющий небо, и огонь, много говорящий о человеке, видящем его...

Метафизика музыкальна сама по себе, и снова вспоминается пианистическое туше.

Потом поэт зажигает огни иронии, исследуя собственную жизненную ситуацию и соединяя с ней проблемы некоммуникабельности — столь естественные в современном атомизированном мире:

Я говорю по-английски плохо  
Но меня все понимают

Я говорю по-французски плохо  
Но меня все понимают

Я говорю по-немецки плохо  
Но меня все понимают

Я говорю по-украински плохо  
Но меня все понимают



**Людмила Осокина, «Осень-осень», Книга малой прозы  
М.: Вест-Консалтинг, 2022**

Раньше считалось, что писателю для создания широкоформатных полотен непременно нужно куда-то съездить. На целину, на стройку века. Даже на войну, как Хемингуэй или Ремарк. И вообще нужно вести самый активный образ жизни. «За жизнью нужно ходить!» — говорит Ольга Ильницкая. Новая книга Людмилы Осокиной словно бы опровергает эту прописную истину. Подобно герою романа Гюисманса, Людмила все делает наоборот. Многие ее зарисовки написаны в непосредственной близости от квартиры в Очаково. Пруды, аллеи, дорожки, трава у дома, балкон. Давно обжитое пространство. «Окно — мой телевизор», — говорит писательница.

Чем больше у тебя окошек в мир, тем больше ты человек. Удивительно, но, нечасто выходя из своей квартиры, можно написать очень интересную книгу. Аналоги такого рода прозы я вижу в дневниковых произведениях Василия Розанова — таких, как «Мимолетное», «Уединенное», «Опавшие листья». Подобно Розанову, Людмила находит литературу в том, что раньше литературой не считалось. Автор предисловия к книге Людмилы Нина Краснова упоминает среди родственных ей писателей также Пришвина и Паустовского. Из современных книг я бы упомянул еще дневниковую прозу Игоря Шкляревского — «Золотую блесну». Самая обыкновенная жизнь, как бессмертие, — вот что мы видим в «Осени» Осокиной. «Стихия всегда сильнее человека и при случае может расправиться с ним», — говорит Людмила, и это также роднит ее дневники с прозой Шкляревского.

Рассказы Людмилы завораживают первобытностью непосредственных впечатлений: запахов, ощущений, штрихов, деталей восприятия. Как будто мир только что сотворен, а нам этого не сказали, не доложили. И мы узнаем об этом, открыв книгу Осокиной. В чем, на мой взгляд, главное достоинство этой книги? Все мы, в той или иной степени, «дальнозорки», не замечая того, что происходит у нас под ногами. Людмила Осокина возвращает нам чудо «правильного» зрения. Такую оптику я заметил у нее еще в «Моей далекой деревне», но в «Осени» это проявляется в большей степени. Поясню, в чем разница. Обычно пишут о необычном, нестандартном, редком, запоминающемся, из ряда вон выходящем. Осокина же пишет о том обыденном, что случается с нами каждый день. Но именно в обыденном она умеет находить глубокое и нетривиальное. Игра светотени, симбиоз человека и природы, внутреннее состояние человека через душу природы — все это мы видим в рассказах Осокиной. Проза Людмилы в лучших своих фрагментах высоко поэтична. И круговорот вещей в природе начинается для автора с осени:

«Если приглядеться повнимательнее, то деревья, все-таки, желтеют, желтеют уже не снаружи, а как бы изнутри, желтеют всей своей внутренней сутью. И, вроде бы, и зеленые они, но зеленого, на самом деле, в них все меньше и меньше. А посмотришь под другим углом — а они уже и желтые почти, изжелтевшие изнутри, из самой сердцевины, из самого своего состояния. Снаружи то можно что-то подкрасить, подновить, подправить, а вот ко внутренней желтизне уже не подберешься. И если осень и оттуда пошла, то ее уже ничем не застопоришь, не остановишь».

Монохромность зеленой листвы деревьев нарушена метастазами желтизны. Удивительный фрагмент, проливающий свет и на название книги. Может быть, осень у Людмилы «двойная» именно потому, что она одновременно идет изнутри и снаружи? Ключевые слова в приведенном выше фрагменте — «посмотришь под другим углом». Этим и интересна проза Осокиной — умением посмотреть на вещи нестандартно, метафизически прозревая сущность ве-



щей. Под желтыми красками реальной осени проступает осень человека, который в душе всегда молод.

«Осень-осень» — проза, несомненно, «авторская». В книге много индивидуального, присущего Людмиле не только как писателю, но и как женщине, как человеку. Ее мир просто не может принадлежать кому-то другому. Вещи и растения, птицы и бабочки, воспоминания и предчувствия потерь становятся частью внутреннего мира героини заметок. Даже на поверхности событий Осокина умеет находить глубину, причем совершенно естественно, без видимых усилий. Дневниковые записи — плодотворный и современный литературный жанр. Такие заметки удобно регулярно писать в соцсетях.

Переехав жить из деревни в мегаполис, Людмила привнесла в свой новый мир оптику деревенской жительницы. Это делает ее пейзажные зарисовки необычными, полными света и тепла. Мне показалось, что Осокина мыслит проектами. «Осень-осень» — своего рода драматургическое развитие «Моей маленькой деревни», «десантирование» деревни в мегаполис. Ведь и в Москве можно найти свою деревню. Мы находим признаки такого перенесения даже в топонимике города — «Олимпийская деревня», район, который находится рядом с квартирой Осокиной.

Все находится рядом с домом, все живет своей особой жизнью. Вот озеро. Летом это пляж, а зимой — каток. Рыбаки ведут подледный лов рыбы. Лед вроде бы прочный, но ступить на него боязно: вдруг под снегом притаилась открытая лунка, оставшаяся после рыбаков? Писательница проявляет внимательность к разнообразной жизни вокруг. Одна из основных тем книги «Осень-осень» — равновесие между природой и цивилизацией. Лес у Осокиной — «в резервации». При строительстве многоэтажек от большого лесного массива осталась только чудом уцелевшая маленькая лесополоса. Тревога автора понятна и оправдана: «И ничего не останется от истинной жизни, если по ней пройдет железной каток цивилизации».

«Осень» — дневник абсолютно не публичного человека. Многие произведения Людмилы Осокиной пронизывает философский аскетизм. Особняком стоит рассказ «Истомленная жизнью». Я думаю, именно этот рассказ и подтолкнул автора к изданию новой книги. Может быть, это наиболее философская новелла в «Осени». Началось все с того, что героиня Осокиной решила похудеть, хотя большой необходимости сбрасывать вес и не было. Ей просто захотелось снова стать семнадцатилетней девочкой. Но вместе с диетой у нее стали уходить жизненные силы. Жизнь всячески противилась палиндромному возвращению к истокам. Это была ловушка, в которую попадают многие. Вспомнилась история актрисы Натальи Гундаревой. Человеческий организм — микрокосм, где все взаимосвязано. И нельзя, нарушив одно звено, сохранить в целостности все здание.

Книга Людмилы Осокиной достаточно разнородна по жанрам. И, конечно, это плюс, а не минус. Много тематических находок. Мне бы никогда в голову не пришло, например, писать о походах в магазин или про щелканье семечек. Несмотря на камерность своего «жития», писательница интересуется всем на свете. Например, где гнездятся осы, чем кормятся птицы. Часто двигательной силой познания выступает у нее удивление. Например, она удивляется, что алыча растет прямо в черте города. Можно нарвать слив и вкусно покушать. В другой заметке она сетует, что температуру воздуха измеряют в тени, а не на солнце. Несправедливо! На солнце температура бывает в два раза выше! Такие эмоции и неравнодушие автора повышают градус повествования.

Есть в книге и детская страничка, вдохновленная прогулками Людмилы с внучкой. Внучка Рита радуется свою бабушку детскими словесными перлами: «Бабушка, небо вернулось! Солнышко на муху наступило!». То, что помнится потом всю жизнь, даже когда дети и внуки станут взрослыми.

Есть в книге и веселые рассказы («Искусство требует жертв!», «Баня с чесноком»), и рассказы с элементами нетрадиционных эзотерических практик: выдыхание старости, выдыхание жизни. И еще многое, многое другое: эта книга — настоящая шкатулка с сюрпризами. И, конечно, прежде всего, Людмила — прекрасный живописец. Ее словесные пейзажи можно цитировать до бесконечности:

«Солнце перед закатом ослепительно-яркое, даже злое. Разгоряченное походом по всему небу, побывавшее в зените и раскалившееся от этого добела, оно нехотя клонится к закату, к месту своего падения и исчезновения. Оно знает, что закат близок и неизбежен, и оттого старается напоследок попалить всласть, поблистать, продержаться хоть еще немного на пылающем закатном небосклоне». Это настоящие стихи в прозе, как у Ивана Тургенева. И, конечно, лучшие пейзажи в книге — осенние:

«Клен разгорелся до невозможности, до остервенения, до пламенного костра. Горит и листьями, и душой, и сердцем своим. Осень зажгла его своим пламенем, ярко-ярко, красиво-красиво. Зажгла его и не думает тушить: пусть полыхает, пусть!.. Подходите, люди! Грейтесь, освещайтесь, наполняйтесь светом, теплом, запасайтесь ими на зиму... А пока — гори, клен, и свети всем вокруг своим светлым огнем, свети и освещай все вокруг своим неизбывным светом, своим небесным, нездешним сиянием!». Поэтичность книги делает ее желанным чтением. Автор вслушивается в себя. Вспоминается строки Тютчева: «Лишь жить в самом себе умей. / Есть целый мир в душе твоей». Удвоение сущностей превращается у Людмилы Осокиной в оригинальный литературный прием: «Осень-осень. Зима-зима. Мороз-мороз. Ярко-ярко. Красиво-красиво».

Минор в «Осени» доминирует. Впрочем, он и так у нас доминирует независимо от времени года в последнее время. Календарный год начинается у Людмилы с осени и осенью заканчивается. Вспоминаются строки кинорежиссера Эльдара Рязанова: «Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить». Кажется, этой книгой Людмила окончательно вышла из тени своего мужа, поэта Юрия Влодова. «Осень-осень» прихлала мне по душе. Очень-очень.

**Александр КАРПЕНКО**

**Павел Манылов, «Папа»  
(Городская проза)  
М.: АСТ, 2022**

Дебютный роман «Папа» Павла Манылова во многом автобиографичен и автопсихологичен и предлагает читателю эмоциональную правду о времени, напоминая, что девяностые снова в тренде, ведь именно туда уходят корни многих судеб. По крайней мере, судьба отца главного героя книги точно родом из той «лихой» эпохи, хотя жизнь свою он проживает совсем по другим заветам, вроде бы вневременным. Возможно, именно это позволяет выживать и его сыну, Косте Счастливецеву, молодому пятикурснику, выросшему в провинциальном городе в семье врачей. По крайней мере, такая возможность ему предоставляется, но у него, конечно же, как у всякого максималиста, свои планы на собственную жизнь.

Дело в том, что, даже обитая с родителями, завися от них в бытовом и материальном плане (хоть и не всегда в денежном — зарабатывать наш герой старается сам) — Костя не может и не хочет вести такую жизнь, как они. Он с иронией наблюдает, как его отец, всеми уважаемый кардиолог «скорой помощи», спасает человеческие жизни, а потом заглушает стресс алкоголем, работая за копейки. «— А что, нельзя хоть иногда приходиться с работы трезвым? — укоряет он отца. — Вопрос не имел никакого смысла, и Костя это прекрасно понимал, но не смог промолчать — его душило раздражение. — Что значит — хоть иногда? — Отец оторвался от поисков съестного и с возмущением приготовился отстаивать свою честь. — Я, на минуточку, врач! — Он поднял вверх указательный палец. — Я сутки людей спасал, а теперь у меня заслуженный отдых».

Неудивительно, что самонадеянный пятикурсник Костя, желая вырваться из провинциальной рутины, хочет иначе: чтобы все легко и сразу. Например, как у отца его девушки Сан Саныча Костылькова, директора ликероводочного завода, или нового знакомого Артура, которого он встретил в казино, и который предложил реализовать партию водки. Тем более, что Костя устраивается на работу в крупную дистрибьюторскую компанию — развезти заказы по области. И отношение к жизни, казалось бы, заданное родителями и, в частности, отцом, продолжает меняться. «Костя вдруг вспомнил Артура: его щеголеватую манеру одеваться, его неизменный синий шарф, повязанный по-итальянски. Потом вспомнил Сан Саныча: всегда строгий и идеальный костюм, начищенные ботинки, исключительно черного цвета, и часы — единственный аксессуар, который он позволял себе. Но отличала этих двух от пассажиров автобуса вовсе не одежда. Костя это понял сразу. Одежда была лишь следствием. Во взгляде Артура и Сан Саныча была жизнь, надежда, стремление, независимо от настроения. А в своих попутчиках Костя смог разглядеть лишь смирение, безразличие, отчаяние и безнадёгу».

Кроме того, Костя любит деньги, и у него к ним талант. Он играет в карты и на спортивном тотализаторе, бывает в казино. Наконец, берется реализовывать водку, оказавшуюся контрафактной, с завода Костылькова, чем подставляет хозяина, доведя даже до тюремной камеры. Винават ли наш герой? Или автор показывает, куда «приводят мечты»? Костин отец, например, мечтает о ралли «Париж — Дакар», но это из области фантазий. Хотя именно Костя, по сюжету, доказывает обратное. В то же время, его собственные, такие близкие и понятные желания оказываются из области малореальных. Неужели для него так сложно стать успешным человеком? Автор отвечает на этот вопрос с позиции традиционной морали, которой придерживается и Костин отец, и даже тот же Костыльков. «— Ты барыга, а я врач. Вот и вся разница между нами. Ты карман свой лишь хочешь набить, а я жизни спасаю, — ответил Семёныч и как-то сник, опустив взгляд в пол».

Как бы там ни было, но, ввязавшись в сомнительную историю, Костя даже не представляет, через какие соблазны и риски ему придется пройти в его стартовом бизнесе. И, если бы не отец, неизвестно, чем бы все закончилось. И в этом, кстати, тоже отцовская карма — воспитывать сына до конца, до взросления, которое не всегда наступает. Впрочем, у Кости оно все-таки произошло, ведь в финале он понимает — и отцовскую мораль, и цену дружбы, и отцовских сослуживцев, которых он обидел своим отношением к их работе и нищенской зарплате. «— Ну тихо, тихо... — Отец обнял Костю одной рукой, а второй стал гладить по голове. — Жив, здоров — это главное. А проблемы все решим, все нормально. — Пап, прости меня. — Костя все-таки оторвался от папиного плеча и посмотрел ему в глаза. — Какой же ты у меня крутой. Самый лучший. — Костя вытер рукавом куртки слезы и вмиг посуровел».

Таким образом, «Папа» Павла Манылова — это не только динамичный роман, отличающийся и быстрым развитием сюжета, и цепкостью авторского взгляда, и кинематографическими эффектами, но и крепкая проза, в которой по-новому решается вечная тема «отцов и детей».

**Роман ВОЛКОВ**

# КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**Ирина Антонова** — поэт, член Союза писателей России, член Союза писателей XXI века, ответственный секретарь и 1-й заместитель главного редактора альманаха «Истоки».

**Александр Балтин** — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1967 году в Москве. Впервые опубликовался как поэт в 1996 году в журнале «Литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале «Florida» (США). Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5 томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 100 изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Израиля, Эстонии, Ирана, Канады, США. Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградой Санкт-Петербургского общества Мартина Лютера. Награжден юбилейной медалью портала «Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорватия). Государственный стипендиат Союза писателей Москвы. Почетный сотрудник Финансовой Академии при Правительстве РФ. Стихи переведены на итальянский и польский языки. В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвященная творчеству писателя.

**Лев Бердников** — писатель, филолог, культуролог. Родился в 1956 году в Москве. Окончил факультет русского языка и литературы МОПИ им. Н.К. Крупской. После окончания института работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где с 1987–1990 годов возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становление сонета в русской поэзии XVIII века (1715–1770)». С 1990 года живет в Лос-Анджелесе. Член Русского ПЕН-центра, Союза писателей Москвы и Союза писателей XXI века. Член редколлегии журнала «Новый берег». Лауреат Горьковской литературной премии 2009 года в номинации «Историческая публицистика». Почетный дипломант Всеамериканского культурного фонда имени Булата Окуджавы. Тексты Л. Бердникова переведены на украинский и английский языки.

**Борис Борукаев** — поэт. Родился в 1956 году в Одессе. Живет в США, в Нью-Йорке. Автор многих публикаций и двух книг. Член Союза писателей XXI века.

**Роман Волков** — российский прозаик, режиссер, сценарист, деятель театра (драматург и режиссер), создатель аудиокниг (диктор и режиссер). Создатель студии звукозаписи Vargtroms Studio. Член Московской организации Союза писателей России. Родился в 1979 году в Пензе. Автор книг «Евпатий Коловрат. Исторический путеводитель по эпохе» («Эксмо», 2017), «Черный поток» («Эксмо», 2020), «Последний грех» («Эксмо», 2021) и других. Сценарист телепроектов на Первом канале «Понять. Простить» и др. Соавтор комедийной мелодрамы «Играй со мной».

**Ольга Ефимова** — поэт, прозаик, литературный критик. Окончила экономический факультет МГПУ по специальности «менеджмент в сфере образования». Публиковалась в журналах «Урал», «Наш современник», «Дети Ра», «Цветные строчки», «Зинзивер», «День и ночь», «Зарубежные записки», альманахе «День поэзии», газетах «Экслибрис НГ», «Литературные известия», «Поэтоград». Родилась и живет в Москве.

**Александр Карпенко** — поэт, прозаик, эссеист, ветеран-афганец. Член Союза писателей России, Союза писателей XXI века. Закончил спецшколу с преподаванием ряда предметов на английском языке, музыкальную школу по классу фортепиано. Сочинять стихи и песни Александр начал будучи школьником. В 1980 году поступил на годичные курсы в Военный институт иностранных языков, изучал язык дари. По окончании курсов получил распределение в Афганистан военным переводчиком (1981). В 1984 году демобилизовался по состоянию здоровья в звании старшего лейтенанта. За службу Александр был награжден орденом Красной Звезды, афганским орденом Звезды 3-й степени, медалями, почетными знаками. В 1984 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, тогда же начал публиковаться в толстых литературных журналах. Институт окончил в 1989-м, в этом же году вышел первый поэтический сборник «Разговоры со смертью». В 1991 году фирмой «Мелодия» был выпущен диск-гигант стихов Александра Карпенко. Снялся в нескольких художественных и документальных фильмах. Живет в Москве.

**Евгений Степанов** — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журналов «Зарубежные записки», «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева». Живет в поселке Быково (Московская область).

**Алла Новикова-Строганова** — доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России (Москва), историк литературы.

**Лидия Терёхина** — поэт, прозаик, детский писатель. Зам. редактора Первого Всероссийского литературного журнала «ЛиФФт» Рязанской области. Родилась в с. Сушки Спасского района Рязанской области в крестьянской семье. В 1973 году окончила Кирицкую среднюю школу и переехала на постоянное место жительства в г. Рязань. Автор шести книг. Из них два поэтических сборника. Член правления Рязанского союза литераторов (регионального отделения РСПЛ), член Российского союза профессиональных литераторов и Союза писателей XXI века. Награждена серебряной медалью фестиваля «ЛиФФт 2017» и дипломами победителя и участника литературных фестивалей: «Славянская Лира», «Славянские традиции», «Интеллигентный сезон», «Под небом рязанским». Неоднократно публиковалась в журналах и альманахах «Под небом рязанским», «ЛитЭра», «Крым», «Балтика», «ЛиФФт», «Сура», «Точки непостижимого», «Эолова арфа» и др.

**Елена Янушевская** — поэт. Лауреат международных литературных конкурсов — «С веком наравне» в номинации «Поэзия» (Москва, 2012 г.), «Центр Европы» (Полоцк, 2020) и «Русский Гофман» в номинации «Публицистика» (Калининград, 2017 г.). Как поэт, теоретик, эссеист и литературный критик печаталась в журналах «Петровский мост», «Человек на Земле», «Дети Ра», «Литература», «Зинзивер», «Дегуста», «45 параллель», «Плавучий мост», «Сура», «Вопросы философии». Автор книги философской прозы «Век без поэтов» (Изд-во МГУ, 2019 г.), посвященной осмыслению ценности искусства и поэзии в современном мире. В 2020 году одноименное эссе из книги вошло в лонг-лист Международной премии интеллектуальной литературы имени Александра Зиновьева. Дебютная книга стихов, эссе и афоризмов — «Вторая любовь» опубликована в 2020 году в издательстве «Летний сад» (серия «Поэтическая библиотека журнала "Плавучий мост"»). Лирическая книга «От имени голубянки», включенная в первый сборник, была переиздана в 2022 году в той же серии как самостоятельный текст.

Тираж 500 экз.  
Отпечатано  
в ООО «Вест-Консалтинг»,  
115230, г. Москва,  
Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9, эт.7, пом. XIV, ком.12